Б. Черкун

ЭДЕЛЬВЕЙСЫ РАСТУТ НА СКАЛАХ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Повесть Б. Черкуна построена на автобиографическом материале. Главный герой повествования — молодой офицер-пограничник Макар Овчаров оказывается в положении безнадежно больного человека. С достоинством проходит он через все физические и духовные испытания и предстает перед читателями борцом, человеком-победителем.

- Эдельвейсы растут на скалах
  -
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    -
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    -
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
  - ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
    -
    - 1
    - 2

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

○ ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

○ Послесловие

Эдельвейсы растут на скалах

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Я сижу перед большим зеркалом, висящим над раковиной умывальника, бреюсь. Из зеркала на меня смотрит чужое толстое лицо с заплывшими глазками. Шея, недавно такая сильная, тренированная, утопает в тройном подбородке… Я никак не могу привыкнуть к этому — такому чужому — своему лицу… А как Дина воспринимает мою метаморфозу?.. Если уж сам себе… то ей и подавно я должен казаться чужим… Не повезло ей со мной. Ей больше не повезло. Болезнь сама по себе — это полбеды. Не я первый, не я последний. И мы еще посмотрим, кто — кого!.. А вот перед нею постоянно чувствую себя в чем-то виноватым, будто подвел… Выходила-то она за меня за здорового…

Сверкнув отраженным окном, бесшумно отворяется застекленная дверь, и на пороге появляется Ариан Павлович. Прислоняется плечом к косяку, складывает на груди руки и с минуту молчит. Я выжидающе смотрю на него, держа безопасную бритву у намыленной щеки. Ариан Павлович высокий, лобастый, лицо смуглое, с поджатыми губами.

— Овчаров, как думаешь, что лучше, рентгенотерапия или операция? — вдруг спрашивает хирург, мягко произнося шипящие.

Ничего не скажешь, оригинальный вопрос. Как по форме, так и по содержанию. Я совсем по-другому представлял себе ритуал сообщения больному о предстоящей операции, думал, это делается с подходом, с тысячью ухищрений. А оказалось так просто!

Отвечаю так, как уже давно решил про себя:

— Думаю, операция.

Кладу бритву на умывальник.

— И я так думаю, — соглашается Ариан Павлович, будто не он меня, а я должен его оперировать. Хирург все больше нравится мне.

— А когда?

— В понедельник, — говорит он и собирается уходить.

— С одной стороны будете оперировать или с двух? — Я настроился на операцию, понимаю, что от нее никуда не денешься. Но два раза ложиться на стол… Лучше уж — сразу!

— Думаю, с двух. За раз — два раз, как говорят у нас в Чувашии, — говорит доктор и уходит.

Я заканчиваю бритье и ложусь. Вот и все. Сделают с двух сторон, и через месяц-полтора буду уже дома. У меня снова будет мое лицо. И для нее перестану быть чужим. Все снова встанет на

свои места! Другим же помогла операция.

А все началось еще на заставе: стало полнеть лицо, повысилось давление. Врачи сказали, что с таким давлением на границе оставаться нельзя: нужен режим, спокойная обстановка. Вскоре и приказ пришел: уволить в запас.

Но вспоминается почему-то не прощание с заставой, а первая стажировка на границе, где все для меня было впервые: настоящая застава, пограничный столб — на самом краешке нашей земли, боевая, а не учебная тревога.

…Подняли ночью. Старшим «тревожной» группы начальник заставы назначил меня. Стажировка заканчивалась, к этому времени я уже хорошо знал особенности участка.

…На галопе выносимся из ворот заставы и мчимся на правый фланг. Над нашими головами бушует гроза. Одна за другой сверкают близкие молнии, высвечивая на мгновенье деревья, потоки воды, повисшие в воздухе, лошадей, замерших в стремительном порыве. Припавшие к луке всадники в брезентовых плащах с островерхими капюшонами в свете молний похожи на воинов грозного Тимура. Почти не переставая, гремит гром. Отпустив поводья, мы доверились умным животным: кони мчатся по дозорной тропе, разбрызгивая воду, скользят на спусках, рывками выносят на крутые подъемы, от копыт далеко назад летят шматки грязи…

Из ущелья наряд доложил на заставу, что во многих местах размыло контрольно-следовую полосу. Вот начальник заставы и послал туда меня с тремя пограничниками, чтобы надежно перекрыть самый уязвимый участок.

…Спускаемся в ущелье. Вдруг строгий окрик:

— Стой! Пропуск!

Отвечаю. Спрашиваю отзыв.

Подходит старший наряда, докладывает обстановку. Младший стоит за деревом, метрах в пятнадцати. По дну ущелья уже шумит поток.

Двоих прибывших со мной пограничников и прежний наряд решаю оставить на этой стороне, а с одним солдатом — переправиться через поток.

Освещаю следовым фонарем реку. Ширина шагов десять. Мутная вода бурлит, несясь под уклон, кипит в камнях, разлетается брызгами. Представляю, во что она превратилась там, далеко внизу!..

— Может, не надо? — предостерегает невысокий солдат первого года службы — он остается на этой стороне.

Молча трогаю шпорой коня. Начальник заставы надеется, что все ущелье будет перекрыто. Надеется на меня, Макара Овчарова.

Конь ступил передними ногами в воду и пугливо захрапел, заплясал на месте, приседая на задние ноги. Я потуже собираю поводья, даю под бока шпорами, и конь медленно, вздрагивая, входит в воду. Чувствую, как под седлом напряглись все мышцы животного, оно осторожно нащупывает копытами грунт. Вода упруго бьется коню выше колен. Я пришпориваю его, освещая путь фонарем, и вполголоса твержу сквозь зубы: «Впер-ред! Ну, впер-р-ред!». Лошадь моего напарника идет за ведущим смелее. Вдруг конь подо мной оступился, теряя равновесие, — вода сразу хлестнула по сапогу… В моем воображении вспыхивает картина: через мгновение поток опрокидывает меня с конем и несет вниз, ворочая и швыряя о камни… Я сразу отдаю поводья, вонзаю в напруженные бока шпоры, и конь, напрягая все силы, делает рывок, другой — и падает, сбитый потоком, ошалело барахтаясь в воде. Я вылетаю из седла и плюхаюсь на мелководье, автомат больно бьет в грудь. Но поводьев не выпускаю — они зажаты в судорожно сжатом кулаке. Быстро вскакиваю на ноги, тяну коня. Круп его сносит стремниной, но передними ногами он тоже на мелководье и, стараясь выскочить, бьет ими, разбрасывая брызги и лязгая по камням подковами. Фонарь путается у меня в ногах, болтаясь на длинном шнуре, и бесцельно шарит по воде лучом.

А над всем этим — слепящие сполохи молний, сменяющиеся адской теменью, громовые раскаты по всему небу и хлесткий, с ветром, ливень.

Я промок до нитки. Сажусь на выпирающий из земли корень, снимаю сапоги, выливаю из них воду, выжимаю портянки.

А молнии так и мечутся по тучам. Над самой головой со страшным треском, будто разгрызают орех величиной с гору, рождается гром и, дробясь, бежит к горизонту, — точно осколки гигантской скорлупы скатываются, громыхая, по ухабистому куполу неба. Не успевают затихнуть эти раскаты, как на небе разгрызают новый орех, и от его треска вздрагивает под ногами земля, пугливо съеживается лошадь и в груди у меня что-то обрывается. Люблю грозу! Стою и твержу про себя: «Под-дай! Под-дай еще!» Такой грозы я никогда не видел. Громыхает и сверкает так часто, что, кажется, гром сам по себе — молния сама по себе. После вспышки — чернота и зеленые вертушки в глазах. Снова молния — снова чернота и вертушки. Тени от деревьев мечутся, лес будто ожил. Зрению доверять нельзя: дерево можно принять за человека, а идущего человека — за дерево. Полагаюсь на слух. Земля раскисла и чавкает под ногами. Даже за шумом дождя и за раскатами грома звук шагов можно уловить. Но самое надежное — внимательно наблюдать за поведением коня. Он сразу учует постороннего. Оставшимся по ту сторону потока тоже

советовал внимательней наблюдать за поведением лошадей.

Конь стоит под дождем неподвижно, с грустной покорностью, и только чутко прядает ушами. Я прислоняюсь плечом к его плечу, и спина постепенно согревается. Но ливень продолжает зло сечь, глухо барабаня по намокшему брезентовому капюшону.

В эту ночь я впервые заставил рисковать другого человека. Ведь лошадь могла оступиться и под моим напарником… Он еще салажонок, вдруг растерялся бы, не справился с конем? Тут уж никто не смог бы помочь…

Мысли мои перескакивают с одного предмета на другой, порою очень далекий от того, почему я стою в этом ущелье, под ливнем, — а слух настороженно ловит звуки, машинально оценивая каждый из них. Вот что-то треснуло. Это ветер сломал ветку, она мягко упала на землю. Сразу определяю направление и расстояние до нее. Справа слышатся сосущие звуки — это напарник переступил с ноги на ногу…

Я продрог до самого позвоночника. Ветер пронизывает сырую одежду, руки окоченели, пальцы плохо слушаются. Сжимаю зубы, чтобы не клацали. Лопатками чувствую, что лошадь тоже вся дрожит.

Гроза неистовствует еще целый час. Но вот начинает откатываться на запад, громыхая и озаряя громады туч синим огнем. Дождь стихает. На востоке обнажается зеленоватая полоска неба. Оказывается, уже светает!

Небо быстро очищается от облаков. Наконец дождь перестал. Но при каждом порыве ветра заскорузлый капюшон гудит от сыплющихся с дерева крупных капель, и по спине пробегает озноб. В ущелье еще сумеречно.

Вскоре приходит смена. Я окликаю напарника, и мы идем вниз, разминая онемевшие ноги.

Идем пешком, чтобы скорее согреться. Солнце поднимается все выше и пригревает сильнее.

Мы согрелись, сняли плащи, сели на лошадей и зарысили, стараясь не задевать отягченные водой кусты.

Показалась застава. Освещенная солнцем, будто умытая, она выглядит игрушечной у подножия горы, подпирающей небо. Спешиваемся у родника, метрах в трехстах от ворот. Кругом трава по колено, сизая от росы. Отпускаем подпруги. Ложимся по очереди на берег ручейка и пьем удивительную родниковую воду. Садимся на расстеленные плащи, ребята закуривают. Лениво плывут голубые облачка дыма. Лица после бессонной ночи немного бледные, осунувшиеся. В кустах тьохнул соловей. Покурив, встаем, отряхиваем плащи. Рвем дикий лук к завтраку и не спеша идем к заставе. Ни один наряд не проходил мимо

родника без того, чтобы не напиться вкусной студеной воды и не нарвать луку. Это стало уже традицией…

2

Но все это — невозвратное прошлое!.. А настоящее — это то, что я лежу в палате на больничной койке и на понедельник назначена операция…

Я уволен из армии. С женой и годовалым сынишкой приехал в Ульяновск. До сих пор я знал, что всякая болячка отболит, сколько ей положено, и все встанет на свои места. Думал, и на этот раз будет так же. Здоровьице мое, однако, продолжало ухудшаться. Приду в душевую мыться, ребята шутят:

— Макар, ты поправляешься как на дрожжах!

Пришлось идти в поликлинику. Направили к врачу с заморским названием: эндокринолог. И слова-то такого никогда не слыхивал. Зашел в кабинет. Меня встретил невысокого роста крепыш с русым ежиком на голове, у губ глубокие борозды, они придают лицу мужественное выражение; рукава халата засучены по локоть. Достаточно было ему взглянуть на мое расплывшееся, малиновое лицо, чтобы определить: болезнь Иценко-Кушинга. Мне этот ребус ни о чем не говорит. Недели через две, после тщательного обследования, доктор сказал:

— Мы хотим направить вас в Москву. Поедете?

«Ничего себе… Неужели так серьезно?…» — подумал я, а доктору ответил:

— Если нужно — поеду.

— Там вас будут лечить профессора.

— А я думал, головную боль может вылечить любой врач.

— По-видимому, вас будут оперировать.

Я сразу представил, как буду задыхаться от хлороформа, хотя в жизни не нюхал его, представил адские боли, мучительные дни перед операцией, наполненные страхом. Поэтому первым моим желанием было — увильнуть от операции. И я сказал:

— Доктор, а нельзя отделаться таблетками или какими-нибудь припарками?

— Боюсь, что нет.

— По правде сказать, не хотелось бы, чтобы долбили голову. Но что поделаешь? Начальству виднее.

— Оперировать будут на надпочечниках, они у вас, по-видимому, увеличились.

— Вот так штука! Болит голова, а резать будут почки…

— Не почки, а надпочечники. Это возле почек вот такие, — врач показал фалангу мизинца, — небольшие железы. Это они слишком много гормонов вырабатывают.

«Надо же, какие мудреные детали во мне, а я и не знал».

— Мы написали запрос в Москву, в Институт экспериментальной эндокринологии. Это все, чем мы можем вам помочь. Рады бы, да… — И врач беспомощно развел руками.

Прошел месяц, а из Москвы никакого ответа.

Меня выписали из больницы, направили на ВТЭК — там дали инвалидность второй группы… Да, никому не дано знать, что ждет тебя завтра, через пять минут. В жизни, бывает, средь ясного неба гремит гром… Еще на заставе я как-то спросил у своего командира, почему, собственно, год службы нам засчитывается за полтора. Служить-то все равно, как медному котелку, до определенного возраста, пусть хоть год за десять идет.

— А вот пойдешь на пенсию, тогда стаж будет считаться не календарный, а за год — полтора, — пояснил начальник заставы.

Помню, я тогда только свистнул: для меня в то время понятие о пенсии связывалось с далекой и потому казавшейся невозможной старостью: я — дедушка, окруженный внуками!.. Ну и ну… Мне, только-только разменявшему третий десяток, такая картина представлялась дикой.

И вдруг колесо жизни так вильнуло, что не прошло и трех лет, а я уже на пенсии…

Вызов в Институт экспериментальной эндокринологии пришел через полгода. Здесь для начала меня повели в конференц-зал. Профессор, высокая женщина с властным выражением лица, стала задавать вопросы:

— Сколько вам лет?

— Двадцать четыре.

— Вы всегда были таким полным?

— Худым никогда не был, но за последние полгода очень прибавил в весе.

— Воды много пьете?

— Да… Иногда просто не могу напиться. Особенно к вечеру.

Она поворачивала меня то одним, то другим боком и поясняла аудитории:

— Посмотрите: типичный, наглядно выраженный «Кушинг»: лицо лунообразное, жировые отложения на туловище, шее, голове, а конечности худые… У вас руки были толще?

— Да. У меня были сильные руки — двухпудовыми гирями я играл, как мячиками.

— Вы кто по профессии?

— Не знаю, что и ответить… Окончил пограничное училище, служил на заставе. Когда давление повысилось, был уволен из армии. Окончил техническое училище, стал работать машинистом крана, поступил в институт и вот…

— Когда же вы все успели?

— Очень просто: после десятилетки — в училище, потом — граница. Я и жениться успел!

— Ничего, не отчаивайтесь, мы вас вылечим. — Кому-то кивнула: — Госпитализировать.

Меня привели в палату. В палате всего три койки. У двери умывальник. Над ним большое зеркало. На окнах белые полотняные шторы.

Соседи были на месте, только что пришли с обеда. Познакомились. Один был, видимо, уже пенсионер, полный, сутулый, с мешками под глазами, с астматической одышкой. Мне понравились его глаза: внимательные, доброжелательные.

Другим соседом был Володя, молоденький парнишка, очень веселый, и фамилия у него веселая: Боровиков. Он сразу стал вводить меня в курс. Потом показал фотокарточку:

— Вот каким я был до операции. Толще вас! — и засмеялся, не в силах сдержать радость. С фотокарточки смотрел страшно толстый человек. Возраст определить невозможно. Сравниваю с оригиналом — ничего общего между физиономией с поросячьими глазками, тупо смотрящими с фотокарточки, и — скуластым, ушастым, сияющим лицом Володи. Ему шестнадцатый год. Стройный, гибкий парнишка. «Надо же!..» — у меня в голове не укладывалось, что это — один и тот же человек.

— И не верится даже, что все это было со мной, — говорил Володя. — А тогда думал, что никогда уже не стану, как все люди. Домой приехал уже худым. Постучался. Мама вышла и спрашивает: «Тебе кого?» Не узнала сначала… Я не написал, что приеду, хотел неожиданно… обрадовать… — Володя замолчал. Он улыбался, а в глазах были слезы…

Я представил, как сам приезжаю домой, еще не совсем окрепший, зато похудевший… Своим ключом открываю дверь. В первое мгновенье жена не верит, что это я… Она будет рада, наверное, больше, чем я сам. Как испугала ее эта болезнь!..

— Пошли в хирургическое, сегодня Витьку Медынцева оперировали. Узнаем, как его дела, — предложил Володя.

— А разве можно?

Володя посмотрел на меня, как на младшего братишку, которому все нужно объяснять.

— Конечно, можно. Я обещал наведываться. Недавно он день рождения отмечал. Угощал конфетами. Ему пятнадцать исполнилось.

В послеоперационную палату Володя вошел, как к себе домой.

У кровати, поблескивая стеклами очков в золоченой оправе, высокая молодая врач манипулировала с системой колбочек и

резиновых трубочек, смонтированных на металлической стойке. На самом верху системы закреплена стеклянная банка с прозрачной жидкостью.

— Здравствуйте, Алла Израилевна, — весело сказал Боровиков.

— Привет, Вова, привет, — поздоровалась она как с ровней. — Что, с сончаса сбежали?

— Ага.

— Приятно иметь дело с честным человеком.

На высокой кровати лежал толстяк с одутловатым лицом. В ноздри вставлены две резиновые трубочки, приклеенные над верхней губой полосками лейкопластыря. Глаза закрыты. В углу — баллон с кислородом.

Мне стало жутковато. Остановился у двери, не зная, куда деть руки. Я не мог отделаться от мысли, что здесь лежит человек, над которым совершено насилие. Пусть для его же пользы, но… насилие.

А Володя запросто подошел к больному, натянул ему одеяло до самого подбородка, спросил:

— Витька, как дела?

Тот с усилием поднял веки, посмотрел на Боровикова красными, тусклыми глазами и плачущим голосом сказал:

— Очень больно дышать.

— А ты как думал? На то и операция. Потерпи. Почаще делай глубокий вдох. А то получится застой в легких — наживешь воспаление. А тебе только воспаления сейчас и не хватало, — явно кому-то подражая, поучал Володя.

— Вова, ты пригляди за ним, а я отлучусь минут на десять, — попросила Алла Израилевна.

— Ладно, идите, — разрешил он. Воткнул поглубже в ноздрю Медынцеву трубку, прижал пальцем отставший лейкопластырь.

— Витек, ты потерпи. Только первые сутки тяжело, а потом легче будет. Зато через полгода похудеешь, станешь таким, как я, — уговаривал Володя товарища, вытирая ему полотенцем испарину со лба.

Потрескавшиеся Витины губы скривились в жалкую, счастливую улыбку, взгляд сразу стал осмысленней.

— Утка нужна? — спросил Боровиков.

— Дай…

Боровиков достал из-под койки стеклянный сосуд, сунул его Вите под одеяло.

Пришла Алла Израилевна. Я удивился, как она могла доверить больного этому мальчишке.

Врач заметила недоумение на моем лице, сказала:

— Боровичок у нас опытный, сам прошел через это. И он лучше нас знает, что нужно такому. — Она кивнула в сторону Медынцева. — Больной больному доверяет больше. Если я скажу: «Дыши глубже, а то пневмонию наживешь», он еще подумает, дышать или не дышать: может, врач только пугает пневмонией. А больного — послушается.

Боровичок, довольный похвалой, скорчил рожицу и двинул ушами.

— Давай утку, — сказал он Медынцеву.

От смущения на серых Витиных щеках проступил румянец.

— Стесняться будешь, когда выйдешь отсюда, — продолжал Володя наставительно, как старичок. — За мной больные так же ухаживали. Давай утку!

Витя подал.

— Молодец! — Володя поднял сосуд, чтобы Алла Израилевна видела. — Витька, у тебя, значит, все в порядке! Ты миллион выиграл! — сказал Боровиков и унес утку.

Вернулся вместе с высоким врачом. Лицо у того озабоченное, с тонкими поджатыми губами. На лбу двумя шишками бугрились надбровья. Врач подошел к Вите, достал из-под одеяла его руку, стал считать пульс.

— Это Арианчик. Хирург. Кандидат наук. Он и меня оперировал, — тихо говорил Володя. — Во мужик! — показал он большой палец.

Так я впервые увидел Ариана Павловича. Кладя руку больного снова под одеяло, хирург сказал Боровикову, не поворачивая головы:

— А ты, оказывается, у нас подхалим.

Боровиков состроил рожицу, двинул ушами и показал спине хирурга язык.

— Ариан Павлович, а он вам язык показал, — как первоклашка, наябедничала Алла Израилевна.

Я прыснул со смеху. Медынцев тоже улыбнулся потрескавшимися губами.

— Я когда-нибудь отрежу ему язык, — сказал Ариан Павлович и погрозил пальцем.

Теперь послеоперационная представлялась мне не такой уж и страшной. Исчезло и неприятное ощущение, что над Медынцевым совершено насилие. Пройдет немного времени, и он похудеет, станет таким же веселым, как Боровичок… К Алле Израилевне, к Ариану Павловичу я почувствовал большое доверие, с каждой минутой они становились для меня все симпатичней. Доверие у меня появилось и к операции, которая, видимо, неизбежна…

Медынцев часто впадал в забытье, врачи почти не отходили

от него, то и дело измеряли давление, считали пульс. Несколько раз приходила сестра и делала Вите уколы. Забегали больные, спрашивали, как он себя чувствует. Им отвечал Боровиков.

В палате стало темнеть. Ариан Павлович включил ночное освещение — лампочку под желтым плафоном. В домах на противоположной стороне улицы тоже зажигались огни.

— Ну, братцы-кролики, благодарим вас за неоценимую помощь, а теперь… — Алла Израилевна дала Боровичку ласковый подзатыльник, — марш на ужин.

Когда отошли от палаты, Володя сказал:

— Эта ночь Витьке до-олгой покажется. Ариан и Алла Израилевна тут будут ночевать. А живут они здесь. — Володя подошел к окну и указал пальцем на пятиэтажный дом рядом с институтом. — Ни один врач не сидит возле больного, как Ариан Павлович. Когда тяжелый случай, бывает, по трое суток домой не показывается. Ночью у больного, а днем, как всегда, работает. Двужильный какой-то.

— А как жена его на это смотрит?

— Кто их знает. Жена у него тоже врач. Может, такая же шальная…

И вот меня самого переводят в хирургическое отделение. Если все будет хорошо, выпишут месяца через полтора… Неужели похудею, как Володя? Приеду домой — и никто не узнает! Сергейка подрастет, купим мотоцикл, палатку, будем ездить с ним за грибами, на рыбалку. Зимой — на лыжах… Как здорово будет! Рюкзак за плечи — и пошел!..

3

Наступил понедельник. О предстоящем почти не думается, а если и думается, то мельком. Все мои мысли в прошлом и будущем: там — жизнь. И думается почему-то о самом будничном, чему раньше, кажется, и значения никакого не придавал. А сейчас готов на все, только бы вернуть ту «серую» будничность, которой так недостает…

Кажется, совсем недавно сменил вылинявшие курсантские погоны на новенькие, горящие золотом, лейтенантские, приехал к родителям в гости. На дворе небывалая для последних дней августа жара. Я иду на речку. И вдруг:

— Макар, ты куда это разогнался?

Знакомый голос… Оглянулся — Дина, одноклассница. Она всплеснула руками:

— Надо же, офицер!.. Привет. Надолго приехал?

— Привет. А ты тоже изменилась.

— В худшую сторону? — спросила она кокетливо, наматывая на палец кончик шелковистого светлого локона.

Я воспользовался легкомысленным вопросом и, отступив на шаг, стал откровенно разглядывать девушку, заставив ее покраснеть. Сам я тоже смутился, хотя и строил из себя бывалого. Она повзрослела и стала очень красива. Поэтому быть, как прежде, просто одноклассниками мы почему-то уже не могли… В школе она носила косы с неизменными белыми бантами. Эти банты я помню с первого класса. Пожалуй, нет на свете мальчишки, который не дергал бы девчонок за косы и не развязывал им банты, и нет девчонки, которая не страдала бы за свои косы… Дина тогда догоняла меня и в отместку колотила кулачками по спине, по голове. А однажды вцепилась мне в волосы и давай их безбожно драть. Я заорал: «Больно»! — «А мне, думаешь, не больно? Не больно?» — твердила она. Отучила.

Сейчас бантов нет. Густые светлые волосы почти до пояса, они вольно струятся по плечам, по груди.

Наверно, и я за три года изменился — и она, должно быть, тоже удивляется, украдкой рассматривает меня, сравнивает с тем — десятиклассником…

От этой мысли стало очень приятно. И немного грустно: мы становимся совсем взрослыми. И чем больше взрослеем, тем быстрее почему-то бежит время…

— Умм… я бы не сказал, что в худшую, — наконец ответил я.

Дине это было очень лестно, но она поспешила переменить тему, от греха подальше:

— В школу не заходил?

— Нет еще. А кто из наших здесь?

— На каникулы многие приезжали. Но почти все уже разъехались. Приходи на танцы. Там, может, встретишь кого-нибудь.

— А ты сейчас откуда?

— С работы. Суббота, короткий день.

— А кем работаешь?

— Секретарем в сельпо.

— Где ты в прошлом году была в это время?

— Ездила поступать… На следующий год еще попытаюсь. Если не поступлю, уеду куда-нибудь…

Духота стояла невыносимая. Я предложил пойти искупаться. Когда-то у нас было традицией в последний день учебного года с последнего урока удирать всем классом на речку.

Мы ушли подальше, чтобы не слышать визга «пескарей» — пацанвы, кишащей и в воде и на песке. Облюбовали широкий спокойный плес. Сверху вода была теплая, нежная, как парное молоко, а чуть глубже — холодная. Мы нарвали два больших снопа куги, легли на них, как на понтон, и отдались почти незаметному течению. Куга под нами прогнулась, и мы лежали в этом ложе, невольно прижимаясь друг к другу. Плыли молча и, чтобы скрыть охватившую нас робость и скованность, с серьезным видом вглядывались в никуда. Кругом стояла такая тишина, какая бывает только на пустынной реке. Над головой легкое, вылинявшее от жары небо без единого облачка, сквозь стебли куги приятно щекочет вода.

— Какая тишина, — прервал я молчание. — Как на границе. Пойдешь в дозор — ночь, горы, лес. И тихо-тихо. Только здесь тишина какая-то ленивая. Благодушная. А там — строгая.

Дина повернула ко мне лицо и как-то странно поглядела.

— Что ты так смотришь?

— Завидую!.. Почему я не родилась мальчишкой?

Лицо ее сделалось упрямым.

— Но я все равно… Уеду куда-нибудь в Сибирь на стройку. Или пойду в стюардессы. Или в торговый флот.

— Кем?

— Радисткой. Или хотя бы поваром. Двоюродная сестренка плавает на сейнере буфетчицей. Уже побывала в Италии, в Египте, заходили на Берег Слоновой Кости. Сувениров навезла! Вот это, я понимаю, романтика!

— А ты знаешь, что романтичное только на первый взгляд кажется голубым и зеленым? Миклухо-Маклай у папуасов — романтично? А на самом деле его романтика состояла из

тропической лихорадки, незаживающих язв и перспективы быть съеденным дикарями. Или Колумб: солонина в бочках, протухшая вода да цинга. Вблизи романтика — это будни. Согласно закону: чем романтичней, тем однообразней будни. Поэтому часто людям, вкусившим этой самой романтики, самое романтичное — это должность секретаря в сельпо и баня с парной, работающая без выходных. И тогда в тысячу первый раз рождается афоризм: «С меня хватит романтики».

— Макар, не надо меня пугать. — Наш диалог неожиданно стал обрастать колючками. — Я тебе не Надя Топоркова. В торговый техникум я бы давно могла поступить.

Дина напомнила о Наде Топорковой, и в памяти моей промелькнули, словно кадры кинохроники, события, о которых я не любил вспоминать…

…Дружили мы с Надей с детства. У Топорковых меня принимали, как родного сына. Через нас, детей, подружились и родители. Между семьями были уже почти родственные отношения. Для всего села наш будущий брак считался вопросом решенным.

…Окончен десятый класс. Я поехал поступать в пограничное училище, Надя — в Одессу, в медицинский. Писала, что в институт не прошла, поступила в торговый техникум.

После первого курса приехал домой в отпуск. Вечером — скорей на танцы, повидаться с одноклассниками. И повидался… Там была Надя. С мужем. Мы приехали в один день.

А за неделю до отпуска получил от нее письмо. Нормальное, ласковое письмо… Пригласила меня на «дамский вальс».

— А как же письма? — спросил я.

— Мне было жалко тебя…

Вальс продолжался, но я подвел Надю к мужу и ушел домой. У меня было такое состояние, будто Надя выкрала у меня хрупкое, хрустальное и хряпнула это хрустальное о бетонный пол танцплощадки. От прежнего чувства к ней не осталось ничего. Сразу. Вдруг. Только пустота в груди, словно оттуда вынули что-то, а свободное пространство забыли заполнить, Надя для меня стала чужой. Более чужой, чем просто незнакомые люди.

Сейчас, с расстояния пяти лет, я понимаю, что наша с Надей история не уникальна. Но если она происходит именно с тобой, то оставляет в душе след.

Вот и тогда, на зеленом плоту посреди реки, я слушал Дину и не мог не сравнивать ее с Надей. Как странно: учились две девчушки в одном классе, их воспитывали одни и те же педагоги, а они оказались такими непохожими… В мой язык вселился бес, я

дразнил Дину, скептически отзывался о ее романтических планах, но мне очень хотелось — мне нужно было! — чтобы Дина не сдавалась. И она не сдавалась! Щеки ее раскраснелись, прищуренные глаза готовы были испепелить меня, в ответ она палила по-детски задиристыми доводами.

— Макар, да ты нахал! — спохватилась она наконец. — А сам-то ты почему…

— Я — мужчина. А удел женщины — мед, пед или…

— Я сейчас тебя побью! — И крепкие кулачки Дины забарабанили по моей спине. Я дернул ее за косы, она вцепилась в мою шевелюру, и между нами началась борьба. Куга под нами расползлась — пронзительный Динин визг полетел, перекатываясь, над величаво-сонным покоем плеса, — и мы очутились в воде, хохоча, как оглашенные.

С реки ушли, когда село солнце. Пастух уже пригнал стадо, коровы разбрелись по селу. Черный бугай с кольцом в носу остановился у штакетника и, басисто ревя, рыл копытом, вырывая с корнем траву и бросая ее высоко вверх. Вокруг бугая — облако пыли. Девочка лет двенадцати медленно ехала на велосипеде, правя одной рукой, и погоняла хворостиной рыжую однорогую корову.

Мы пошли по домам. Договорились увидеться на танцах…

…Сейчас даже смешно вспоминать. В наших отношениях было еще так много детства, школярства. Уже не дети, но еще и не взрослые… А вообще-то этот, инфантильный, что ли, тон наших отношений исходил от Дины. Когда встретил Аленушку, мне было всего восемнадцать, но с нею было совсем по-другому…

Вспомнил Аленушку — и сразу светлей стало на душе.

После истории с Надей Топорковой я стал даже немного циником. На какую ни посмотрю, невольно думаю: «И ты, наверно, такая же…» Так продолжалось, пока не встретил Аленушку. Она помогла мне увидеть, что не все — Нади…

…Был декабрь. Я бесцельно бродил по вечерней Алма-Ате. До конца увольнения оставалось еще часа три. Весь день моросил дождь, даже снежок пролетал, а к вечеру с неба сеять перестало, но было пасмурно. На мокром асфальте отражались огни фонарей, светящихся окон, фар автомобилей. На тротуарах — редкие прохожие. Остановился трамвай, из него вышло несколько человек. Последней показалась женщина со спящим ребенком на руках и с чемоданом, ей подали еще большую дорожную сумку. Женщина стояла в растерянности, не зная, как ей быть. Я подошел:

— Давайте помогу.

Она облегченно вздохнула:

— Вот спасибо… Здесь не очень далеко.

Она была такая молоденькая, совсем еще девчушка. Хрупкая, беспомощная какая-то…

Вошли в подъезд, поднялись на третий этаж. Женщина остановилась у одной из дверей, но сразу позвонить не решалась. Она почему-то очень волновалась. Даже как будто боялась. Оглянулась на меня, словно искала поддержки. Наконец, тяжело вздохнув, нерешительно нажала кнопку звонка. Кто-то в шлепанцах подошел к двери, щелкнул замок, дверь медленно отворилась. На пороге стояла пожилая женщина с широким неулыбчивым лицом, в просторном цветастом платье, она сразу нахмурила брови и вместо приветствия сказала язвительно-сурово:

— Явилась, — медленно окинула гостью сердитым взглядом, повелительно кивнула: — Заходи.

Женщина с ребенком вошла. Я — за нею.

— Ну, здравствуй, — все так же неласково сказала хозяйка.

— Здравствуй, мама, — тихо ответила дочь. Они холодно обнялись, поцеловались: соблюли обычай.

— Я тебя, Альбина, предупреждала. Не послушалась мать. Помнишь, я тебе говорила: не выходи за этого прохиндея. А вышла — так живи! Теперь нечего бегать туды-сюды. И не оправдывайся! — остановила она дочь, которая хотела что-то сказать. Та все еще держала спящего ребенка на руках. — И не жалуйся. Иди, положи Иришку-то, чего стоишь.

Они ушли в комнату. Мне и оставаться так долго неловко, и не проститься неудобно.

Через минуту Альбина вышла и тихо сказала:

— Прошу вас, не уходите… — А глаза договаривали: «А то она меня съест». И продолжала уже громко: — Раздевайтесь, сейчас чай пить будем.

Я снял шинель.

— Думаешь, спасешься, если он здесь сидеть будет? Не сегодня — так завтра, не завтра — так послезавтра, а устрою я тебе прочухранку. Что ж это он такое нафордыбачил?

— Мама, пожалуйста, только не сейчас, — взмолилась Альбина. Она немного похожа на мать, но черты лица мягкие. Большие глаза смотрят пугливо, губы еще совсем детские, пухлые, но грустные, уставшие. Худенькая, лопатки так и ходят под кофточкой.

— Ладно, занимай своего спасителя, а я соберу ужин, — сказала мать и ушла.

Альбина чувствовала себя неловко, не знала, о чем говорить,

чем занять меня, и в то же время старалась держаться поближе, точно ей грозит опасность. Про себя я назвал ее Аленушкой. Я понимал, чувствовал, что ей сейчас очень плохо — она была похожа на затравленную собаками козочку Мне хотелось сделать что-то такое, от чего бы разгладились на ее лице скорбные складки, чтобы на детских губах заиграла беззаботная улыбка. Но я не знал, как помочь ей.

…Если б не Аленушка, может, и мимо Дины прошел бы. Они чем-то даже похожи, Дина и Аленушка. Мне хотелось, чтобы с Диной у меня было, как с Аленушкой, вернее — как могло бы быть с нею…

…Я каждый день встречал Дину, все свободное время мы проводили вместе. Дина много расспрашивала о границе, о жизни на заставе. Я рассказывал. Рассказывал и о том, как неустроенно живут там семьи, намеренно сгущая краски, а Дина с жаром возражала, что такой жизни можно только позавидовать.

Я уже не представлял, как буду там один, без Дины… К концу отпуска сыграли свадьбу и уехали на границу. На заставе у нас и Сергей родился.

Все положенные сроки Дина переходила дней на двадцать. И вот однажды вечером пришла в канцелярию.

— Макар, кажется, начинается… Я боюсь.

Капитан отпустил меня, хотя дел на заставе вечером невпроворот.

Помню, тогда ровным счетом не знал, что предпринять, как помочь Дине. Она потом сама несколько раз посылала меня позвонить, но тут же звала обратно.

Взглянул на часы: первый час ночи. А вдруг роды начнутся здесь, без врача? Или в дороге? Как же я не догадался хотя бы жену капитана позвать?

Привел жену начальника заставы. Они с Диной пошушукались, и капитанша сказала, чтобы вызывал машину.

Машина пришла минут через сорок. Военврач привез акушерку из поселковой больницы. Дину тут же увезли.

А меня капитан отправил на границу проверять службу нарядов.

…На заставу возвратился на рассвете. Меня встретил часовой. Он взял под козырек и отрапортовал:

— Товарищ лейтенант, за время вашего отсутствия у вас родился сын! Вес три шестьсот пятьдесят, рост пятьдесят два сантиметра. Ваша жена чувствует себя хорошо. Поздравляю с сыном!

Капитан разрешил поехать в роддом. Я вскочил на коня и

помчался. До поселка было километров двадцать.

По дороге удивлялся: родился сын, а я почему-то не думаю о нем. Пытался мечтать, каким станет он, куда вырастет, — тоже ничего не получилось… О Дине вспомню — сразу теплее становится в груди. А про сына подумаю — в душе ничего не шевельнется. Собственно, я и не представлял, как можно любить то, чего ни разу не видел, о чем не знал ровным счетом ничего.

Молоденькая краснощекая сестричка, нахмурив белесые брови, наотрез отказывалась пропустить меня к Дине:

— Нельзя.

— Почему?

— Еще ребенка заразите.

— Я — заражу?! Сестричка, неужели я похож на бациллоносителя? А как же тогда, когда жена с ребенком домой приедет?

— Не положено.

— Ну хоть жену поздравлю. Что я, зря такую даль скакал? Меня ж больше не отпустят.

— Врач увидит — мне попадет.

Все-таки уговорил.

Я был весь в пыли, белобровая сестричка долго чистила меня, прежде чем провести в палату.

Дина лежала в белой постели, ее рука безвольно покоилась поверх одеяла, длинные белокурые волосы шелковистыми волнами растекались по подушке, на бледном усталом лице голубые глаза казались непривычно большими, она слабо улыбалась.

Я поцеловал ее, поздравил.

В палату вошла все та же сестричка со свертком в руках. Сверток — это сын. Я подумал, что с таким же успехом сестра могла принести другого. Показали бы двоих новорожденных, и я бы не смог сказать, который — мой… кого из них я обязан теперь любить. Кладя сверток рядом с Диной, сестра на несколько секунд заслонила ее, а когда отошла, я с удивлением отметил, что что-то изменилось. Опершись на локоть, Дина наклонилась над ребенком. Волосы соскользнули с плеча и закрыли лицо. Тыльной стороной ладони и движением головы она закинула их за спину и еще ниже склонилась над младенцем. Я с изумлением смотрел на Дину-мать… на жену с сыном… И вдруг с радостью ощутил, что в душе у меня посветлело, потянуло к ним, захотелось вместе с женой склониться над ребенком, над нашим ребенком. Мне случалось видеть новорожденных, обычно личико у них красное, сморщенное, как печеное яблоко. А у моего сына лицо чистое. Малыш открыл один глаз, потом другой, они у него

большие и голубые — мамины. Я подмигнул:

— Привет! — и коснулся пальцем пуговки носа. Лицо сразу сморщилось, и сын запищал.

— Обиделся. Дурачок, это ж твой папа. Пап, а как мы назовем нашего сынулю?

— Как договаривались: Сергеем! Сейчас поеду и зарегистрирую. А то неизвестно, отпустит меня капитан еще или нет… Дай подержу его.

Бережно взял сверток. Неизъяснимое чувство охватило меня. Под пеленками было теплое, беззащитное, живое существо — человечек, мой сын… Ему нужна ласка — материнская и отцовская. Нужна забота и любовь. «Все это будет у тебя, будет!..»

— А мне тут уже говорили: «Какой заботливый у тебя муж. Звонил ни свет ни заря». А когда въехал во двор, пришли и сказали: «Твой уже на коне прискакал. С цветами», — говорила Дина, наматывая на палец и снова разматывая кончик локона — верный признак, что ей приятно.

Обратно ехал медленно. Солнце было в самом зените и палило нещадно. Все живое попряталось от палящих лучей. Даже черепахи почти не встречались. Хорошо помню, о чем тогда думалось. Я улыбался над теми страхами, что одолевали меня, когда ехал в роддом, и позже, когда сестричка принесла ребенка. Как могла прийти на ум такая нелепая мысль, что не смогу любить сына, эту кроху!.. Поскорее бы подрастал Сергей. Буду тогда брать его к себе в седло. Пусть привыкает к коню! А потом наступит час, когда посажу Сережку в седло одного, и он крепко вцепится в гриву коня, чтобы не свалиться. Он будет ловким, смелым. Мой сын будет честным и добрым.

А на самом деле пока все получается по-другому. И никогда уже не узнает Сергей, как среди ночи стучится дежурный в окно: «В ружье!» — и отец выбегает на улицу, застегивая на ходу ремни, а через минуту слышится приглушенный топот копыт — это поскакали пограничники, поднятые по тревоге.

Домой отец возвращается под утро, в мокрой плащ-палатке, в сапогах, до колен вымазанных глиной, снимает с себя громадный пистолет в пластмассовой кобуре и с глухим стуком кладет на табурет, что стоит рядом с кроватью… Сережа не будет знать, что одежда и пистолет, когда отец спит, всегда лежат наготове на этом табурете.

…Мои воспоминания прерывает одна больная, она часто заходит к нам в палату. Толще меня, бойкущая, с вятским говорком. Ее уже прооперировали, скоро поедет домой. Узнала, что я дал согласие на двустороннюю, и прибежала.

— С ума сошел, — напустилась она. — Сам на смерть

напрашивашься. Да ты знаешь, что это такое — операция сразу с двух сторон? Это ж эксперимент! Недавно одну эдак прооперировали — еле выходили! Так она до операции была куда здоровее тебя. — Женщина сокрушенно всплеснула руками. — А он сам себе приговор подписал.

— У меня почему-то доверие к Ариану Павловичу.

— Ты, Макар Иванович, вижу, новичок в эдаких делах. Хочу дать один совет. Найми сестру. Перед тяжелой операцией все нанимают.

— Как это — нанимают? — не понял я.

— Ну, заранее договариваются, чтобы она в ночь после операции дежурила около тебя, а ей за это платят, за сколько уж договорятся.

— А зачем мне персональная сестра?

— Она будет добросовестно ухаживать.

— А без денег не будут ухаживать?

— Нанять — оно надежнее…

— Не буду никого нанимать, — отвечаю сердито. — Если выживу, то и так выживу. А если суждено, — большим пальцем показываю в землю, — сто купленных сестер не помогут.

Она посмотрела на меня жалостливо и ушла.

«Операция, деньги… Вот уж действительно, кошелек или жизнь. Анекдот!.. Только на всем больничном, понял?»

Жене не стал писать, что будут оперировать. А то вся изведется. Вот когда все будет позади и я смогу держать ручку, тогда напишу, что и как — и Дине, и родителям. Ей и так несладко одной. Угораздило же меня заболеть.

Почему-то не берут на операцию… С любопытством наблюдаю за собой: когда же начнется та борьба благоразумия, воли, железного «надо» и т. д. с ужасом, отчаянием, цепляньем за жизнь, когда нахлынут воспоминания милого детства, святое чувство прощения всех бывших врагов и прочее, о чем так много читал в описаниях тех минут, которые сейчас переживаю сам. Ждал, ждал, когда ко мне придет все это… и уснул.

Через час будят:

— Овчаров, поехали.

Мне помогают лечь на каталку и везут в операционную. Больные высыпали в коридор, кто-то улыбается мне, кто-то ободряюще кивает, почти у всех в глазах затаенная тревога. Еду точно сквозь строй. «Как в последний путь», — насмешливо и в то же время с неприязнью думаю я.

— Ни пуха, ни пера! — шепотом говорит та, что советовала нанять сестру.

— Спасибо, — отвечаю назло приметам.

— Что ты, что ты, надо говорить «к черту»! — восклицает женщина испуганно, как заклинание.

В операционной меня перекантовывают на операционный стол. До чего же он узкий — того и гляди, свалишься.

Анестезиолог Алла Израилевна, поблескивая стеклами очков, накладывает мне на руку манжет тонометра. Алла Израилевна удивительно быстро сходится с людьми. Заговорит с тобой так, будто продолжает неоконченную беседу — и ты сразу чувствуешь себя как дома. Очень любит пошутить. Даже о серьезных вещах всегда говорит с юморком. Если смущаешься или боишься какой-нибудь процедуры, то стоит ей сказать: «Слушай, не усложняй мне жизнь», — как это умеет говорить только она, — и ты уже не можешь не улыбнуться.

Ассистент — грузный добродушный хирург — делает уколы новокаина в ногу. Слышу, как рассекают вену и вставляют в нее иглу от капельницы, но боли не чувствую. Я все так же улыбаюсь в душе, наблюдая за своими ощущениями, за невольной настороженностью, за всеми приготовлениями: стараюсь все запомнить.

У стены на низком стуле сидит Ариан Павлович, весь в белом, руки в резиновых перчатках держит на весу.

— Ариан Павлович, а если я не захочу, чтобы сразу с двух сторон?

— А я тебя и спрашивать не буду. Переверну на другой бок — и знать не будешь, пока не проснешься. А проснешься — уже поздно будет протестовать, обратно не вставишь, — подтрунивает он.

Сделали укол в вену — и плафоны на потолке стали двоиться, куда-то поплыли… Я знаю, что это наркоз, воспринимаю все, как должное, с любопытством, — я не перестаю наблюдать себя; все это для меня ново, даже интересно, но ничего гнетущего — вопреки тому, что вычитал в книгах. С детства люблю наблюдать за собой как бы со стороны. И чем острее ситуация, тем с большим интересом ощущаю свое внутреннее состояние.

…Однажды с цепи сорвался злющий пес и бросился ко мне. Мне было тогда лет четырнадцать. Я весь подобрался, выставил руки с растопыренными пальцами. Решение пришло молниеносно: когда собака кинется, схватить ее за горло и задушить. А что кинется — не сомневался: она уже бросалась на людей.

На расстоянии шага собака остановилась и стала медленно обходить меня, оскалив клыки, прижав уши и утробно рыча. Я так же медленно поворачивался, держа руки возле ее морды. С

радостным удивлением я отметил тогда, что совсем не испугался, только сердце билось сильно и четко. Мысленно я даже подзадоривал пса: «Н-ну! Ну давай!» И еще отметил, что, следя настороженно за каждым движением зверя, вместе с тем с интересом разглядываю и навсегда запоминаю мерцающие глаза, вспыхивающие временами зеленым слюдяным блеском, тягучую слюну, ниточками свисающую с волосков, влажные, трепетные ноздри, хищно наморщенный нос.

Припадая к земле, готовая каждую секунду к броску, собака продолжала обходить меня, не приближаясь и не удаляясь. Я поворачивался вслед за нею, инстинктивно сознавая, что нельзя ни на пядь отступить, ни дать ей зайти сбоку.

Сделав круг, пес остановился, порычал еще и стал пятиться. Потом повернулся и затрусил, не оглядываясь, прочь. Я вздохнул облегченно, глубоко-глубоко. И в то же время мне даже обидно стало, что пес спасовал.

Как ни в чем не бывало, пошел было домой. Но, пройдя шагов пятьдесят, вдруг почувствовал страшную слабость, ноги отказывались держать, и я сел на землю. Рубашка прилипла к спине, на лбу, на шее выступил пот. Не было сил поднять руку утереться. Я не смог сдержать нервный, счастливый смех. Второй раз за этот вечер я удивился: когда опасность была рядом — был спокоен, владел собой, а сейчас не могу совладать с собственными руками и ногами, они как ватные… Но верх одержал все-таки я!

…А плафоны над головой плывут, плывут… Чувствую, что вот-вот… Спросил, который час, но ответа уже не услышал.

4

Сестричка Нина приносит утром термометры; мы притворяемся спящими.

— Опять не хотите температуру мерять? Ох, аферисты (это ее любимое словечко). А что я буду ставить в температурный лист?

Из сестер Нина самая энергичная, самая заботливая, деловая. (Здесь всех сестер, кроме старшей, называют по имени.) Она среднего роста, худенькая, отчего кажется выше. Плечи, локти мальчишеские, угловатые.

— Да у нас у всех температура нормальная, — бубнит кто-то из-под одеяла.

— Ты мне эти шуточки брось! Ну ладно, бес с вами, всем поставлю нормальную.

Но у меня, как у послеоперационного, градусник греется под мышкой.

По коридору Нина шагом почти не ходит. Вот она бежит в палату.

— Ни-на! — зовет ее кто-то из другой.

Заскрипели «тормоза» — это она в тапочках, как на лыжах, проехалась по полу — затормозила. Вбегает:

— Это ты, аферист, звал меня? Чего тебе? — через минуту бежит дальше.

Больные в ней души не чают. Приносит завтрак. Я смотрю на тарелку, как кролик на удава.

— Аферист, Макар Иванович, уже третий день ничего не ешь.

— Не хочется, — загнусавил я, голосом, гримасой умоляя не напоминать о еде.

— Вот съешь хоть одну ложечку, сразу силы прибавятся. Сметана — люкс.

«Люкс» — тоже ее любимое словечко. За это называем между собой Нина-Люкс.

Открываю рот… Нина снова набирает.

— Мы договаривались только одну ложечку…

— Ты мне эти шуточки брось! Вот поешь. Приедешь домой — все попадают. Никто тебя не узнает! — а сама кормит и кормит. Наконец я сжимаю губы. Нина не настаивает, она довольна:

— Вот и молодец, почти все съел. А то все не хочу да не хочу. Ох, аферист!

В обед меня кормит Зина — смуглая, черноволосая сестричка. Она улыбается мне глазами, губами, щеками — всем лицом, одной рукой гладит по плечу, по голове, а другой — подносит ложку, ласково приговаривая:

— Ешь, миленький, ешь. Ешь, хорошенький. — И слова ее звучат так искренне, с такой лаской, даже мольбой, что я готов сделать все, что она ни скажет.

Она стоит, склонившись, у моей высокой послеоперационной кровати и кормит так усердно, что вместе со мной невольно открывает и закрывает рот. Мне кажется, что я снова стал маленьким, ласка расслабляет, я готов расплакаться, как в детстве — ни с того, ни с сего… Испытываю беспредельную благодарность к этим девчушкам, а выразить это чувство не могу, хотя бы потому, что все еще нахожусь на их попечении.

Зина уходит. Но вскоре возвращается с письмом в руках.

— Овчаров, пляши! — и подает конверт с фиолетовым треугольником.

От Вани Истомина. Коротенькое письмо: жив-здоров, новостей никаких, служим помаленьку. А я мысленно уже на заставе… Весенний солнечный день. Дина с Сережкой на руках садится в кабину. Я кидаю в кузов два чемодана и следом за ними влезаю сам. Нас провожает вся застава. Шофер заводит мотор, машина выезжает за ворота, минует шлагбаум, набирает скорость — застава и провожающие становятся все меньше и меньше. Вдруг в небе расцветают разноцветные букеты ракет — так провожают тех, кто навсегда покидает заставу… На душе у меня так, как бывало в минуты, когда осенним днем слушал курлыканье улетающих журавлей. Глаза заволокло пеленой, сквозь которую смутно различаю все новые и новые вспышки ракет… Вот уже и не видно заставы, только в той стороне с небольшими промежутками взлетает и разгорается в голубой бездонной выси то красный, то зеленый огонек. Вдруг, как флаг, распускается и зависает в безветрии оранжевое облако дымовой завесы…

А как боялся Ваня Истомин майских жуков! Он был безответный, и ребята любили подшутить над ним. Перед отбоем накидают под одеяло майских жуков, он это знает и, прежде чем откинуть одеяло, ощупывает трясущимися руками койку, как заминированную. Обнаружив жука, брезгливо сбрасывает его палочкой, победно ругаясь: «У-у, фляги! Снова жуков накидали! Вовка, я знаю, это твоя работа!» — А Вовка, будто знать ничего не, знает, отмахивается: «Ты чё, ты чё?» — «Вот дам по шее, тогда узнаешь, чё!» — грозится Ваня, но угроза так и остается угрозой… А сейчас — старший лейтенант, боевой офицер, начальник заставы…

— Макар Иванович, чему это вы так хорошо улыбаетесь? — спрашивает сосед. Он лежит на койке с наушниками на голове, отчего смахивает то ли на летчика, то ли на шпиона,

передающего шифровку.

— Да так… Друга вспомнил.

— Небось тоже пограничник?

— Да. Вместе учились, на соседних заставах служили.

— Переписываетесь?

— Изредка.

И снова — воспоминания…

5

Я иду на поправку, но вес не снижается. Хирург говорит, что результат не всегда виден сразу. А мне так хотелось приехать домой похудевшим!..

Прошел месяц, меня выписали. Сажусь в автобус, еду на вокзал. Вот и осень начинается. С неба сеет ровный дождь, на мокром асфальте отражаются деревья, пешеходы, машины; на деревьях появился первый желтый лист, опадает на тротуары. Увидишь такой лист в блестящем зеркале лужицы — и повеет на тебя светлой грустью, как из есенинского стиха. Сквозь заплаканные стекла автобусного окна смотрю на расплывающиеся силуэты людей, домов… Кажется, ехал бы так и ехал, встречая, провожая взглядом надвигающиеся, уплывающие серые видения. «Приехал в дождь и уезжаю в дождь. А что изменилось?..» Останавливаемся у светофора. Вдруг рядом с автобусным окном мелькает зеленая фуражка. Приникаю к стеклу. Может, кто из однокурсников? Нет, совсем незнакомый курносый профиль, погон капитана. Светофор открыл зеленое око. Автобус, набирая скорость, обгоняет пограничника, Еще раз мелькает курносое загорелое лицо. Если б это был Ванька! Затарабанил бы ему в стекло, вышел бы на остановке. Тот, наверно, и не узнал бы.

Я снова дома. Дина готовит обед. Позвала меня на кухню, чтобы посидел рядом. Поминутно подходит и заглядывает в лицо грустными голубыми глазами. Я касаюсь лбом, губами ее шелковистых волос, вдыхаю их запах. Сережа зовет меня, чтобы почитал книжки, а Дина просит сына:

— Пусть папа посидит со мной. Я ведь тоже соскучилась. И ты посиди с нами.

Весь день меня не покидает мысль, что если бы не заболел, то, может, никогда так и не узнал бы, какая она у меня заботливая, ласковая. «А если б это была Надя?» — подумалось вдруг. Мысль, как по клавишам, пробегает по былому. «Поняла, что не смогу жить где-нибудь в глуши. Не выдержала бы…» А что бы она сказала сейчас?

На следующий день Дина начинает примерять на меня весь немудреный мой гардероб. Но все мало, и она огорчается до слез.

— Я думала, после операции похудеешь. Думала, приедешь, наденешь военную форму — и мы пойдем в кино. Мне так нравится, когда ты в военном. А на эти твои запорожские шаровары я уже смотреть спокойно не могу!

Я утешаю ее, говорю, что это пустяки, я еще похудею.

Главное, что мы снова вместе, и я снова смотрю в ее глаза и прячу лицо в ее ладони. От ее внимания, заботы, от того, что она здесь, со мной, мне так хорошо, что даже болезнь кажется не бедой, а только временной неприятностью. Представляю, какое будет у Дины лицо, когда похудею… Она тогда тоже заплачет. Но это будут совсем другие слезы! Ах, как все-таки чертовски хорошо, когда ты знаешь — чувствуешь всем своим существом! — что у тебя есть вот такой преданный друг! Если я когда-нибудь стану тебе в тягость и ты уйдешь от меня, я не буду на тебя в обиде. Но мне тогда будет очень плохо. Я, наверно, эгоист, но я хочу, чтобы ты всегда оставалась такою, как сейчас. Я готов благодарить треклятую болезнь за то, что она помогла мне увидеть вот такую безбрежную доброту твою.

Через три месяца я, наконец, увидел, что худею. И силы стали прибывать. Теперь я целыми днями хожу именинником. Дина тоже повеселела. Снова в руках у нее все спорится, она, как девчонка, бегает вприпрыжку по квартире, потихоньку напевая и накручивая на палец локон. Давно я не видел ее такой — с тех пор, как лег в больницу.

…Но месяца через два самочувствие ухудшилось. Написал об этом Ариану Павловичу. Пришел вызов. Я снова еду в Москву.

6

Узнаю, что в институте находится и Витя Медынцев — тот самый паренек, к которому мы с Боровичком ходили в послеоперационную.

Разыскал Медынцева. У него, как и у меня, рецидив. Витя еще больше растолстел. Ариан Павлович нацеливается на повторную операцию.

Больница — это, с одной стороны, средоточие страданий человеческих. С другой же — здесь витает дух, способный очищать душу, делать ее чуткой и мягкой. Витя оказался одной из счастливых жертв этого духа: он очень общителен и привязчив, вхож во все палаты, его приходу всегда рады. Он у всех просит книги про любовь и читает их запоем. От больных он перенял многие ремесла: умеет плести авоськи, делать шкатулки из картона, открыток и рентгеновских пленок, плести пояса и галстуки из сутажа, наряжать кукол-голышек принцессами: из лент делает им роскошные декольтированные платья и широкополые шляпы, — и дарит их больным и детям, что приходят навестить папу или маму.

И вдруг он влюбился. В отделение поступила новенькая, ей лет девятнадцать, миниатюрненькая, симпатичная, с маленьким носиком и ямочками на щеках — как большая живая кукла; похожей на куклу делают ее и светлые, вьющиеся колечками волосы, и большие, чуть навыкате, голубые глаза. Витя зачастил в ее палату. Он не умеет прятать свои чувства — он всей чистой душой потянулся к ней. Святая простота! Он с робостью, как к божеству, прикасается к ее плечу, а она судорожно отстраняется. Он же ничего этого не замечает: ласкает ее взглядом, и рука вновь тянется к ней.

Все сочувствуют Вите и жалеют его. Мы решили как-нибудь отвлечь его. Девушку мы не осуждаем: в самом деле, что для нее этот ожиревший до безобразия мальчик? Да к тому же, как выяснилось, она недавно вышла замуж. И мы стали осторожно говорить Вите, что ему не следует туда ходить; была бы она холостая — другое дело. Витя соглашался… и продолжал целыми днями пропадать в ее палате.

А женщины жучили куклу, мол, что, тебя убудет, если приласкаешь мальчишку? Она же, вся в слезах, отвечала, что у нее есть муж, ей нет никакого дела до чьей-то любви, что она видеть не может этот жирный кисель, что по ней мурашки бегают, когда он прикасается… А женщины стыдили ее, говорили, что в больнице все равны: толстые и худые, симпатичные и не очень,

что она не знает: может, завтра будет такая же, как Витя, — пусть представит, что у нее увеличилась не щитовидка, а надпочечники. Ему, может, жить осталось месяц-другой, а он так и не узнает ласкового прикосновения женской руки, доброго взгляда, не услышит в милом голосе нежной нотки. Ведь у него такая же душа, как у всех, а может, и лучше, чем у них, да и у нее тоже. Этим она не изменит мужу, и душа ее убытка не понесет, если приласкает того, кого судьба глухой стеной отгородила от всех человеческих радостей…

Победили женщины. Девушка сумела перебороть неприязнь: шутила с Витей, ерошила волосы, от чего Витя совсем потерял голову и всякое чувство меры: льнул к ней, клал голову на колени. Она все это стоически переносила. Но когда он попытался поцеловать — окатила таким взглядом, что он больше не осмеливался на подобную вольность.

А тут вскоре ее прооперировали. Теперь Витя не отходил от нее, преданней и опытней сиделки ей было бы не сыскать — он знал все тонкости ухода за послеоперационными (как, впрочем, каждый, кто долго скитался по больницам).

Эти восемь дней, пока ее не выписали, были самыми счастливыми днями в его жизни. В ней пробудилось к нему теплое чувство, возможно, это было чувство благодарности за преданность, за его заботу. Она смотрела на него грустными сестринскими глазами, клала ручку с ухоженными ногтями на его руку, и тепло ее ладони согревало безгрешное мальчишечье сердце; нежно касалась его щек, и у обоих в глазах блестели слезы: у нее — от сострадания, у него — от счастья…

* * *

А у меня снова обострилось чувство косвенной вины перед Диной… Медынцева ждет повторная операция. Значит, и мне этого не миновать… Сколько ж это еще протянется? Из-за меня пропадают лучшие ее годы. Ей хочется в кино, хочется, чтобы я был в военном. А тут в запорожских шароварах. Я уж — ладно. Пока молода, могла бы устроить свою жизнь. А если проболею не один год, да и… Тогда ей очень сложно начинать все сначала.

Мне уже два раза снится один и тот же сон. Будто пробираемся мы с нею меж диких скал, карабкаемся по отвесным утесам. Для страховки мы связаны длинной веревкой. Вдруг из-под моей ноги срывается камень, и я лечу в пропасть. Меня охватывает ужас. Не от мысли, что погиб, а от того, что через мгновение веревка натянется, и я увлеку Дину за собой. Я кричу:

«Держись!!», выхватываю нож и успеваю перерезать веревку. И сразу испытываю облегчение — нет, я ликую! Я совсем не думаю о близкой гибели — я испытываю глубочайшее удовлетворение от того, что успел перерезать веревку. Исполнил свой последний долг…

И вот пишу ей письмо. Ох, как трудно писать об этом!..

> «…Я все понимаю. Не хочу быть тебе обузой. Ведь понимаю, что стал не тот, что ты выходила не за такого. Если встретишь человека по душе, знай: ты свободна. Я не обижусь. И не хочу, чтобы из-за меня твоя жизнь пошла кувырком.
>
> Но о двух вещах все же тебя попрошу. Пусть все будет честно. Пожалуйста, если уйдешь, то сделай это с достоинством. И если уйдешь к другому, то не создавай преград для моих встреч с Сережкой. Больше ни о чем не прошу…»

Как я не хочу, чтобы Дина когда-нибудь повторила Надю Топоркову! Не хочу, чтобы и она за моей спиной… Но об этом я не напишу. Это она сама должна. Если уж…

Отправил письмо. На душе почему-то очень тревожно. Может, не надо было посылать?.. Поймет ли она правильно?.. Нет, я должен был сказать, что она свободна. Если я нужен ей, она не придаст ему значения. А если стал в тягость, то это письмо поможет избавить ее от лжи. Что угодно, только не ложь!

Ответ пришел необычайно скоро. Кажется, я боюсь распечатывать.

> «…Не смей больше присылать мне такие письма! У тебя, наверно, очень много свободного времени. А по ночам мучит бессонница. И от безделья в твоей голове рождаются такие глупые идеи. У меня тут и без этого твоего письма голова кругом идет. Мне ведь и так тяжело.
>
> Макарушка, родной, выкинь из головы эти дурацкие мысли. Никого у меня нет и никто мне не нужен. Не думай ни о чем. Выздоравливай побыстрее и приезжай домой. Мы очень ждем тебя. И ждем твоих писем. Только не таких! Сергей по пять раз в день заглядывает в почтовый ящик, нет ли письма от папы. И все спрашивает, когда папа приедет домой…»

Как хорошо она меня отругала! Обиделась. Я бы на ее месте

тоже, наверное, обиделся. Ей, бедняжке, и так достается, а тут я еще.

7

Я принял курс рентгенотерапии, и меня выписали. Зашел к Ариану Павловичу проститься.

— Ариан Павлович, что дальше делать будем?

Хирург барабанит пальцами по столу.

— А что тебе в терапии сказали?

— Если через полгода не будет улучшения, еще курс вкатят.

Ариан Павлович морщится.

— А вы что скажете?

— Я думаю, надо полностью удалять левый надпочечник. Тогда должен похудеть.

— Да и я чувствую, что для меня эта рентгенотерапия — что мертвому припарка.

Я уже знаю, что одномоментные операции — сразу на обоих надпочечниках — запретили делать: из пяти — два летальных исхода. И вообще после частичного удаления надпочечников почти у всех — рецидив. Ариан Павлович предлагает удалять один надпочечник полностью, но многие считают это авантюрой: медицина утверждает, что человек без надпочечников жить не может.

— Ариан Павлович, я слышал, вы животным полностью удаляли один надпочечник. Они как, выживают?

— Все выжили. Кролики, суслики, собаки, обезьяны. Правда, я оперировал, по сути, здоровых животных: вызвать у них болезнь Иценко-Кушинга до сих пор не удается.

— Наверно, выживают потому, что другой-то надпочечник вырабатывает гормоны? Тогда, наверно, и люди должны выживать?

— Прямо профессор. Твоими бы устами да мед пить. Да, вырабатывает. Но ты попробуй убеди в этом моих коллег!

— А что ж тут непонятного?

— Каноны, научные догмы, Макар Иванович, — это страшная вещь. Их невозможно опровергнуть никакими доводами, потому что канон зиждется не на фактах, не на логике, а на вере. Если бы ты был медик, я бы никогда не сказал тебе, что надо удалить надпочечник: тебя тогда на аркане в институт не затащил бы. На выпускном экзамене, когда я уже ответил на билет, профессор задал мне вопрос: может ли жить человек, если у него будут удалены надпочечники? Я тогда подумал, что при заместительной терапии гормонами надпочечников человек будет жить, о чем и доложил профессору. Профессор принял мой ответ за личное оскорбление и выгнал из кабинета, да еще прокричал

вдогонку: «За-ру-би-те себе на носу: без надпочечников человеческий организм существовать не может! Не мо-жет! Это только у сусликов есть ткани, частично выполняющие функции надпочечников!» И что ж ты думаешь? Он не привел ни одного довода в пользу своего утверждения, но авторитет профессора был для меня непререкаем, поэтому слова его я запомнил на всю жизнь. И если бы еще год назад мне кто-то сказал, что надо удалить надпочечник полностью, я бы, наверно, сам сказал ему в лицо, что он идиот. Недаром Энгельс говорил, что догмы, традиции являются могучей силой не только в католической церкви, но и в науке. И только когда стало ясно, что продолжать делать частичное удаление нельзя, я решился на опыты по удалению надпочечника.

— Если после удаления надпочечника должен похудеть — я к вашим услугам. А то жена уже не может спокойно смотреть на мои запорожские шаровары.

Хирург хлопает меня по плечу:

— Потерпи. День и ночь думаем, как помочь вам.

8

Я дома. Проходят месяцы, а улучшения никакого. Вес медленно, но упорно увеличивается. Угрожающе повысилось давление. Мне уже нельзя наклоняться. Если что уроню, поднять не могу. Я стал совсем развалиной. Из дома почти не выхожу. У Дины жизнь тоже не богата событиями: дом — детсад — работа; работа — детсад — дом. За все эти месяцы мы даже в кино ни разу не сходили. Да что там кино! Просто в скверике ни разу не гуляли.

Наконец, наступает некоторое улучшение. Я довольно бодро шагаю по комнате. За окном бабье лето. Я вдруг чувствую, как опостылели мне эти четыре стены! В моей голове зарождается грандиозный план: придут Дина с Сергеем, и мы пойдем на Венец, под мягкое осеннее солнце, будем любоваться с высокого берега прозрачными заволжскими далями. Сегодня я что-то особенно нетерпеливо жду их…

Наконец они приходят. Я не даю им разуться, излагаю свою идею.

— Макар, я так сегодня устала. И мне надо постирать.

— Разве это так срочно? Постирать и завтра можно.

Она уходит на кухню и оттуда отвечает:

— Ну да, буду я копить грязное белье. Потом не достираешься. — В ее голосе слышится раздражение.

Сережка стоит у порога: он настроен идти гулять, выжидает, чья возьмет.

— Сергей, разувайся, иди мой руки. Ужинать скоро будем, — непререкаемым тоном говорит Дина.

Я чувствую себя так, словно провинился в чем. Вдруг возникает мысль, в которой я боюсь себе признаться.

Нет, не может быть!

Проходя мимо зеркала, вижу свое отражение. Невольно смотрю на себя глазами Дины. Безобразно толстый, лицо малиновое… Да, она не хочет, чтобы ее видели рядом со мной. Чувствую, как в душе у меня что-то сникло.

После ужина Дина каким-то виноватым голосом говорит, не глядя на меня:

— Ну идите, погуляйте с Сергеем.

Мы с Сергеем идем на берег Волги. Но на душе — кошки скребут.

Возвратились домой. Весь вечер Дина со мной виновато-предупредительна. Избегает моего взгляда…

Никогда больше не заговаривал я о прогулках. Она — тоже.

Да и самочувствие мое после короткой передышки снова ухудшилось. Наконец Ариан Павлович присылает вызов.

Провожать меня идут Дина с Сергеем и соседи. На вокзале, в вагоне, жена старается держаться в стороне, словно она здесь — случайный человек.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Я снова в Институте экспериментальной эндокринологии. Положили в терапевтическое отделение. На этот раз моим лечащим врачом оказалась Зоя Ивановна, молодая красивая женщина. Голос у нее мягкий, голубые веселые глаза смотрят приветливо и только что не скажут: я хочу помочь тебе, я знаю, как это сделать.

Давление у меня высокое, она назначает резерпин. Я отказываюсь:

— Он мне не помогает.

— Тогда уколы дибазола. — Голос ее становится еще мягче: — Если это не поможет, что-нибудь другое найдем.

— Не поможет и дибазол.

— Попробуем еще раз. — Улавливаю в голосе нотки материнской строгости, брови ее становятся тверже…

— Зачем?

— Вы сюда лечиться приехали или нас учить? — в голосе прорывается раздражение.

— Лечиться. Сначала я выполнял все назначения. Мне ничего не помогло. Делать новый заход не хочу. Если есть что-нибудь новенькое — давайте попробуем.

— Тогда уколы магнезии. — Голос у врача уже совсем обиженный, видимо, предчувствует, что и это будет отвергнуто.

— Извините. Честное слово, от магнезии у меня был колоссальнейший абсцесс, — с виноватой улыбкой отвечаю я.

Она молча защелкивает пластмассовый футляр тонометра и уходит из палаты совершенно расстроенная.

Я совсем не хотел злить это милое существо с таким певучим голосом, кроткими, добрыми глазами. Но и я же не виноват, что другие врачи уже испробовали на мне все эти лекарства.

Иду к Ариану Павловичу. Вижу, хирург не рад моему приходу.

— Ариан Павлович, что будете со мной делать?

Он отвечает с неохотой:

— В общем, надо резать. Но очень не хочется. — Тяжело вздыхает. — Повторно оперировать очень сложно. Резать по старому рубцу — там много спаек. Да и живот у тебя вон какой. Давай пока сдавай все анализы, а там видно будет. И директора института сейчас нет, она в ГДР, а завотделением в отпуске. Без них я не могу решать.

Спустя несколько дней Зоя Ивановна говорит, чтобы я готовился к очень неприятному исследованию — пневморену. У

меня даже колени задрожали.

— Зояванна! — взмолился я. — Мне до операции делали, и то ничего не получилось, а сейчас там спайки…

— Больной, вы опять меня учите?

Я не знаю, как сделать, чтобы врач, которая для меня же хочет как лучше, не хмурила брови и не сжимала от досады губы.

— Зояванна, поймите меня правильно, я не строю из себя умника. И не хочу вас учить.

— Готовьтесь на завтра — и никаких разговоров.

Отправляюсь искать Ариана Павловича. Случайно встречаю его на лестнице. Рассказываю о своей беде.

— Ладно, я с ней поговорю.

— Ариан Павлович, вы забудете. Или что-нибудь помешает. Вы же знаете, как тяжело переношу я эту процедуру.

— Пошли, — сдается он.

Ариан Павлович заходит в ординаторскую, а я остаюсь в коридоре. Слышу, разговаривают на высоких нотах. Через минуту выходит Зоя Ивановна, окатывает меня гневным взглядом:

— У-у, ябеда! — Немного помолчала. Взгляд ее потеплел. — Ваша взяла. Только не надейтесь, что буду идти у вас на поводу! Скажите своему благодетелю спасибо.

Еще в приемном отделении мне сказали, что в изоляторе хирургического отделения лежит Витя Медынцев. Его дела плохи. Полгода назад собрался консилиум. Спасти Медынцева могла только операция. Делать частичное удаление — нельзя, через несколько месяцев больной может вернуться с новым рецидивом. Поэтому на консилиуме было решено удалить полностью один надпочечник. Операция, однако, оказалась неудачной. Ариан Павлович не смог добраться до надпочечника: Медынцев был очень толстый, после первой операции образовалось много спаек, в этом месиве хирург нечаянно повредил больному кишечник, и операцию пришлось прервать. И вот уже полгода Витя лежит на животе, даже на бок повернуться ему нельзя. Но шутит по-прежнему! И у всех просит книжки про любовь.

— Что говорит Ариан Павлович? — спрашиваю у него.

— Скоро еще резать будет. Говорит: «Попытаюсь все же добраться до надпочечника». Поскорей бы. А то так надоело на животе лежать.

* * *

Проходят дни, недели. В «гарнизоне», где я бессменный

комендант, не успели выписать двоих, как на их место положили Серго — грузина лет тридцати пяти, и Володю Боровикова. У Володи тоже рецидив. Но он не очень полный. Только лицо раздобрело да болит позвоночник. Боровичок по палате передвигается на костылях. Два года назад он так радовался, что похудел, думал, навсегда отделался…

Серго здесь тоже не новичок, но ни со мной, ни с Володей не знаком. С ним мы не сдружились, хотя он как будто и не хотел портить с нами отношений. Было в нем что-то такое… что словами сразу и не обскажешь, но мы стали относиться к нему сдержанно. Серго всегда был чем-нибудь недоволен, для него здесь все не так: и грязно, и кормят ужасно плохо, на наволочках, видите ли, пуговицы, а должны быть тесемки, и пижамы, наверно, женские, потому что петли с двух сторон…

В Туркмению бы его, думаю, где вокруг ни одного деревца, только гольный песок, да разок-другой взыграл бы «афганец» (ураган, дующий с юга), когда в двух шагах ничего не видно, песчинки до крови секут лицо, режут глаза, скрипят на зубах. Тогда ему эта палата показалась бы если не раем, то райской прихожей.

Между собой мы стали называть Серго Занудой.

Когда приносят лекарство, Боровичку прочитывается обязательная лекция:

— Ты знаешь, чито такое лэ́карство? Нэ-эт, ты нэ знаешь. Ты маладой, ты ничего еще нэ знаешь. А я всо знаю. Я работал на фа́рмацевтицком заводэ. Лэ́карство — это хымия, атрава. И мы п’ем эту атраву.

Затем следует аккуратное, даже ритуальное поедание таблеток. Зануда берет таблетку щепоткой, открывает широко рот, запрокидывает голову, разжимает щепоть — таблетка падает в рот. Отхлебывает из стакана воды, снова картинно запрокидывает голову и с клекотом глотает: глллёк! После этого следует монолог о том, что все мы — подопытные кролики, а врачи — сущие изверги, они «возятся» с нами и «практикуются» на нас только затем, чтобы написать диссертацию.

— Зачем же вы лежите здесь? — спрашиваю его однажды. — Вас сюда никто силком не тащил.

— Если я балной, нада же минэ́ где-та лэчица!

Мне непонятна такая логика.

Врача Серго встречает лавиной вопросов, и деликатная Зоя Ивановна каждый день объясняет ему одно и то же. Ей приходится призывать на помощь всю свою изворотливость, чтобы уйти из палаты.

А с Боровичком мы неразлучны. Помогаем сестрам делать

ватные шарики, разносим по палатам градусники, как и другие больные, ходим в хирургическое отделение, помогаем ухаживать за оперированными.

Много времени проводим у Медынцева. В изоляторе он лежит один, мы чувствуем здесь себя хозяевами. Нас сдружило не столько положение, в котором мы оказались, сколько отношение к своему положению. Я почти не чувствую разницы в годах между мною и этими мальчишками. Иногда ловлю себя на мысли, что такая дружба бывает на фронте.

2

Узнаю, что Медынцеву назначена операция. Идем с Боровичком к нему. Витя встречает нас возгласом:

— Завтра меня чик-чирик!

В этот вечер ему изменила выдержка, он вдруг почувствовал, как устал лежать на животе. Уже несколько раз говорит мечтательно:

— Заштопает Арианчик кишку — я хоть на боку полежу.

Он верит в Ариана Павловича, как в бога.

Поврежденную часть кишечника Медынцеву удалили, но до надпочечника так и не смогли добраться… Операция длилась шесть часов.

Мы с Володей несколько раз приходили к Вите, но каждый раз глаза у того были закрыты: то ли спал, то ли был в забытьи, то ли не хотел никого видеть. Медсестры говорят, он стал капризным, раздражительным. Раньше за ним такого не водилось.

* * *

Витя Медынцев умер.

Все эти дни, вернее, ночи, я очень много думаю. Иногда — ночь напролет… Вот он каков «Кушинг». Не любит он отступаться от своей жертвы, берет мертвой хваткой. Эх, Витек… Много еще осталось книжек про любовь, не прочитанных тобой…

А мне самому — много ли еще доведется их прочесть?.. Мы с ним по одной тропке идем. Где-то эту тропку преграждает пропасть. Витя не смог перешагнуть… А я?..

Второй месяц, как поступил в клинику, а положение такое же неопределенное, как и в первые дни. А вес увеличивается. Уже перевалило за сто пять килограммов. Разглядывал себя в зеркале — не похож на человека: шеи нет, из-за живота не вижу своих ног, жир на боках свисает складками. И — непрекращающиеся боли. Жизнь начинает терять для меня смысл… Кому легче от того, что я живу? Дине? Так она сейчас ни мужнина жена, ни вдова… Будто вижу, как она на вокзале старается держаться подальше… А совсем недавно написала: «Я сейчас ни богу свечка, ни черту кочерга»…

А память уносит меня назад, к другой Дине…

…После свадьбы, в оставшиеся до отъезда на границу дни, мы с отцом привезли и сложили в стог сено, выкопали на огороде

и в поле картошку. Дина тоже поехала в поле. День был теплый. Небо затянуто маревом: туман не туман, облака не облака. Сквозь это марево мягко светило солнце. Сразу от огородов до самого горизонта желтела пшеничная стерня. По стерне важно вышагивали жирные галки, выискивая на земле зерна.

Я выкапывал картошку, Дина с отцом выбирали ее и ссыпали в мешки. Когда работу закончили, пришла машина. Но грузить сразу не стали, было интересно посмотреть, как уродило у других. Шофер, отец, хозяева соседних участков пошли по делянкам. А мы с Диной не пошли. Нам хотелось побыть вдвоем.

Поломанные стебли подсолнухов, разбросанная буро-зеленая картофельная ботва придавали черному изрытому полю унылый сиротливый вид. С вышины доносился неумолчный вороний грай.

— Пока будут ходить да пока погрузят — за это время уже дома были бы, — шумно вздохнула Дина. — Опоздаем сегодня на танцы.

— Не опоздаем!

Я открыл боковой борт, взвалил на плечо мешок, положил его в кузов. С каким удовольствием ворочал я мешки! Куча, в которой был урожай с трех участков, быстро уменьшалась. Когда взялся за самый большой мешок, Дина подошла, чтобы подсобить. Я оставил мешок, подхватил ее на руки и посадил в кузов:

— Не мешай человеку работать!

Я видел, что Дина любуется моей силой, сноровкой, мне это было очень приятно, мешки, казалось, сами взлетали мне на плечо.

Закончил погрузку. Майка, плечи, уши засыпаны землей, по лицу, по груди скатывались капельки пота. Дина подошла, стала стряхивать с меня землю, вытерла платком лицо.

— Ну и силища у тебя, — с удивлением — мне показалось, даже немного с испугом — сказала она и крепко прижалась к руке…

Возвратились старшие. Видят: все мешки в кузове.

— О-о, с кем ты грузил? — удивился отец.

— Это он все сам, — сказала Дина.

И снова мне было приятно услышать в ее голосе нотку гордости…

Мы тогда успели на танцы…

«Ни богу свечка…» Конечно, не для того она замуж выходила… вернуться нужно здоровым. А нет — так развязать ей руки…

Сергей… Ч т о могу я, такой, сделать ему полезного? И родители измучились от страха. А конец сразу разрешит все проблемы. Так пусть или зарежут, или вернут здоровье.

До каких пор будет увеличиваться вес? А потом — вдруг неподвижность… беспомощность… медленная мучительная смерть… Нет! Этому не бывать. Не «Кушинг» — я хозяин положения. 110 килограммов — потолок. Если наберу такой вес — подведу черту. Быть аппаратом по переработке пищи, и только — не хочу и не буду! Если жить — то на всю катушку. «Ни богу свечка…» Завтра же поговорю с Зоей Ивановной.

А выдержи Дина это испытание, кем бы она стала для меня!..

За окном еще совсем темно, но машины уже гудят. Значит, часов пять. Пора спать.

Позже я пойму, что не только отчуждение Дины, не только угроза неподвижности послужили причиной тому, что я пришел к такому жесткому решению. Для борьбы нужны силы. А свою силу я чувствую, когда вижу, что я хозяин положения. Но для этого я должен доказать самому себе, что мне по плечу и условия пожестче, что я сам могу усложнить ситуацию, сделать ее еще более опасной.

И еще мне нужно было поставить себя в такие суровые обстоятельства для того, чтобы подстегнуть себя — заставить во что бы то ни стало добиться от врачей согласия на операцию: ведь если не прооперируют, я сдержу слово, данное себе, — подведу черту…

3

На следующий день, как обычно, после завтрака приходит Зоя Ивановна, стройная, милая. Под мышкой черный футляр тонометра и папка с историями болезни.

— Ну что, Макарушка, с вас начнем? — Зоя Ивановна присаживается на краешек кровати, тонометр и папку кладет на тумбочку. От нее исходит едва уловимый запах духов. Из-под халата выглядывает кромка зеленого вязаного платья.

— Как наши дела?

Я сразу беру быка за рога:

— Зояванна, я вот посмотрел со своей колокольни и пришел к выводу, что нужна операция.

— Нет, операцию вам сейчас делать нельзя. Операция — крайняя мера. Сначала испробуем другие способы.

— А время не упустим?

Она мягко касается моего плеча:

— Прооперировать всегда успеем.

Говорить о «потолке» или нет?

— Я не допущу, чтобы вес превысил сто десять килограммов, — говорю, глядя ей прямо в глаза, спокойно, без восклицательных знаков. Врач поняла меня правильно. Выдерживает взгляд и спокойно отвечает:

— Не смейте и думать об этом.

— Зоя Ивановна, пожалуйста, не думайте, что я рисуюсь или шантажирую вас. Но таково мое решение. Я имею право распорядиться собой.

— Надо бороться до последнего.

— Согласен с вами. Но цепляться за жизнь не буду. А как бы вы поступили, окажись в моем положении?

Она не отвечает, опускает глаза. Потом говорит:

— И все же надо лечиться.

— А я разве возражаю? Или настаиваю на лечении, что полегче? Я встречал таких больных, что говорили: «Пусть я лучше умру, но на операцию не соглашусь». Я же настаиваю на самом опасном лечении потому, что считаю его единственно верным.

— Одна я не могу решать. Надо мной есть начальство, от него все зависит. Я доложу о вас.

— Конечно, заставить оперировать меня — не в моей власти. Но с этим хозяйством, — хлопаю себя по животу, — я домой не вернусь. Так и скажите своему начальству.

Каждый день твержу Зое Ивановне об операции. А она боится

даже думать об этом. С кем из врачей ни заговорю об операции, каждый отводит глаза в сторону, будто в чем провинился, и отвечает, что о ней надо забыть. «Если не хочешь уйти вслед за Медынцевым», — читаю на их лицах.

А вес увеличился до ста семи килограммов…

«Глупая башка, если тебе не надоел белый свет, шевели мозгами! Докажи, заставь, делай что хочешь, но вынуди врачей на операцию. Спасение только в ней. А не то расшибу твой медный лоб о лоб электрички. Мне — такому — дорога домой заказана!»

Но моя башка пока ничего лучшего не придумала, как снова идти к хирургу.

Ариан Павлович отрывается от бумаг, кивает два раза на приветствие, молча указывает рукой в сторону дивана: присаживайся. Сам откидывается на спинку стула, вытягивает длинные ноги, скрестив их под столом.

— С чем хорошим пожаловал?

— Ариан Павлович, я без вступления: когда будете меня оперировать?

Хирург барабанит пальцами по папке. Немного погодя, говорит:

— Наверно, никогда.

— Вы же сами говорили: нужна операция.

Доктор глянул на меня и снова перевел взгляд на свои длинные подвижные пальцы.

— Сначала надо испробовать другие способы лечения.

— Я понимаю, что после Медынцева вы сомневаетесь.

— Да и Медынцев вот…

— Ариан Павлович, я не боюсь.

— Зато я боюсь, — перебивает он. — Не могу я взять на себя такую ответственность. Да после Медынцева мне никто и не разрешит. — Он помолчал. — Можно было бы попытаться через живот добраться до надпочечника. Но я так ни разу еще не оперировал.

— Надо же с кого-то начинать, — хватаюсь я за эту ниточку. — Почему бы не с меня? Другого еще уговаривать придется. Ну, пожалуйста!

— Зарежу — мне твои родители спасибо не скажут. Я не бог, я только хирург, понимаешь?

— Никто никаких претензий предъявлять не будет. Я при вас им напишу и все объясню.

— Нет, не проси. Повторно оперировать нельзя! — больше для себя, чем для меня, говорит хирург.

Как же убедить Ариана Павловича?

— Мне так и так погибать. Вы не зарежете — «Кушинг»

доконает. А вдруг операция пройдет удачно?

— Не-не, не проси. Ничего не обещаю.

Итак, ухожу я без конкретного ответа. Правда, с Арианом Павловичем вообще трудно вести серьезный разговор. Другой раз приготовишься к беседе, даже вопросы на бумажечку запишешь, а он все смешает и с улыбочкой выпроводит. Видимо, это у него защитная реакция от нас. Но когда хирург считает нужным поговорить с тобой, то говорит кратко и конкретно, каждую мысль выдает скороговоркой, точно бьет короткими очередями.

4

Боровичок приносит новость:

— А к нам в отделение индийца положили. С ожирением. Говорят, сын какого-то деятеля. Здоровущий! Сто восемьдесят килограмм.

Иностранец освоился в отделении быстро, уже на другой день он шел в холл в окружении подростков, они помогали ему нести магнитофон и транзистор. Теперь в холле целыми днями играет музыка, ходячие почти все свободное время проводят там. Зовут индийца Али. Ему двадцать три года. Пучеглазый, с тройным подбородком. Громадного роста, ноги толстенные.

— Али, как тебе здесь нравится? — спрашиваю его.

— О-о, карашо!

— А чем хорошо?

— Люди. Весело. Анекдоты русски — карашо! Га-га-га-га! — запрокинув голову, хохочет оглушительным басом, выпучив глаза и широко открыв рот с крупными зубами. Живот колышется, стул под ним скрипит по всем швам. — Соленый анекдот. Га-га-га!

— Так ты анекдоты любишь! Рассказать?

— Рассказать, рассказать. Соленый? — Али уже приготовился смеяться. — Давай, давай, — нетерпеливо подгоняет он.

Заслышав об анекдоте, женщины придвигаются поближе:

— Взялся рассказывать, так начинай.

— Давай, мы закаленные, — загалдели они разом.

Я усаживаюсь верхом на стул и выдаю анекдот с солью и с перцем.

— Га-га-га-га! — Али засучил ногами. От его хохота пол дрожит, как от канонады. Насмеявшись, продолжает рассказ:

— Я лечился… э-э Дойчланд… Как это по-русски?

— В Германии?

— Так, — коротко говорит он, кивнув головой. — Этот… э-э… вест.

— В Западной Германии?

— Так. Там — плохо.

— Почему?

— Такой большой комната. Как этот холл. Я там адын, — он ставит торчком волосатый указательный палец. — Приходил фрау. Такой белый, — показывает руками, какой у нее головной убор. — Лекарство принес. Сделал так, — Али прикладывает руку к груди, строит постное лицо, кланяется, — и ушел. Пришел молчал — ушел молчал. Скучно. Время до-олго! — показывает пальцами, как «ходит» время: — Так!

— Здесь, значит, лучше?

— Да. Здес сестра — прям как радной сестра: гаварит, улыбается, смеется, шутит, — ему не хватило слов, и он зацокал языком. — В палата — три человек. Весело! Дойчланд — дорого. Много валюта нада. У вас — бесплатно. Карашо!

— Али, ты так красным скоро станешь!

— Га-га-га-га.

— Где ты русскому языку учился?

— Я здес второй раз.

— А что тебе еще у нас нравится?

— О-о, нравится. Началник лежит — рядом Димка из детдом лежит. Началник стол сидит — Димка этот стол сидит. Димка борщ дает — началник борщ дает. Началник анализ — Димка анализ. О-о! — Али выпучил глаза и поставил торчком указательный палец.

— Али, да ты совсем красным стал. Приедешь домой — тебя не узнают.

— Га-га-га-га! — Али хлопает себя по груди. — Красный! Га-га-га-га!

5

Надо атаковать палатных врачей. Придется призвать на помощь бумагу, она часто бывает убедительней любых устных доводов. Излагаю по пунктам все аргументы в пользу операции.

Представляю, какое будет завтра лицо у Зои Ивановны, когда отдам ей свой меморандум… Милая Зояванна! Бедная Зояванна: стоит только заикнуться об операции, как у нее тотчас портится настроение. Смотрит тогда на тебя такими грустными глазами, будто она вовсе и не врач, а сестра твоя. Земной поклон тебе, дорогая Зояванна, за твою доброту, за участие, за твое отзывчивое сердце. И — за бессилие твое. Я знаю, что здоровья она мне и грамма не прибавит — она сама этого не скрывает, не старается убедить, что только от нее придет ко мне исцеление (чем грешат многие), но чем-то очень мне помогает. Мне крупно повезло с Зоей Ивановной.

В палате сумерки, хотя уже 12 часов, — такая пурга разыгралась на дворе. Подхожу к окну, прислоняюсь лбом к прохладному стеклу. Из-за вьюги домов на противоположной стороне улицы совсем не видно. А на тротуаре пешеходов почти столько же, как в обычный погожий день, только все они спешат, будто каждый опаздывает куда-то. А метель-то, метель разгулялась! Вот она налетела на девушку, толкнула в спину — девушка невольно пробежала несколько шагов, откидываясь всем корпусом назад, а метель вдруг с такой силой налетела на нее спереди, сыпнув горсть снегу в лицо, что та чуть не упала, быстро повернулась и пошла спиной вперед. Метель набросилась на нее со всех сторон, у девушки не хватает рук и лицо закрывать от снега, и придерживать подол, ветер треплет его, то колоколом вздует, то прижмет, точно приклеит, к ногам.

Ну и кутерьма! Одеться бы потеплее — да и нырнуть в снежную круговерть, глотнуть бы ветру со снегом, закружиться в бесовском танце, закричать во всю глотку — пустить крик по ветру, пусть мчится и кружит в этой завирухе!

Только вместо всего этого сквозь невидимые щели в окне чуть тянет свежая струйка воздуха.

На следующий день отдаю Зое Ивановне свой меморандум.

— Что мне с вами делать? — говорит она, пробегая глазами бумагу. — В том-то и беда, что и вы по-своему правы, и мы — тоже. В вашем случае это, может быть, главный козырь.

— Значит, лед тронулся? Тогда я с Ариана Павловича с живого не слезу!

Зоя Ивановна улыбается и только головой качает.

* * *

А хирург, кажется, стал избегать меня. Но я все же поймал его.

— Некогда мне сейчас, некогда, — хотел было отмахнуться Ариан Павлович.

— Если вам некогда, я поймаю вас в другой раз. Но от этого разговора вам не уйти.

Ариан Павлович улыбается нехотя, одной стороной рта, нехотя садится и меня приглашает сесть. Стучит пальцами по столу.

— Значит, решил оперироваться, — не то спрашивает, не то подводит итог. — А я не могу тебя оперировать — я сделаю из тебя второго Медынцева, понимаешь? — Говорит спокойно. Это была не жестокость, а правда — одно из достоинств, за которое я уважаю Ариана Павловича. Я могу довериться лишь тому, кто умеет сказать «я не знаю» и даже «я тебя зарежу», если так оно и есть на самом деле. Да Ариан Павлович и сам знал, кому можно так говорить.

— Все равно режьте.

Хирург молчит.

— Есть такой анекдот. Ведут двоих на расстрел. Впереди уже виднеется яма. Один говорит: «Бежим?», а другой: «А хуже не будет?» Вот и мне хуже уже не будет. В конце концов, я распоряжаюсь своею жизнью. Мне надоело это жалкое существование. Сейчас я живу лишь потому, что надеюсь на улучшение. А такая жизнь, как сейчас, не только не дорога мне — она мне не нужна! Это мне вот так, — провожу рукой по горлу, — надоело: боишься махнуть рукой, съесть лишнюю крошку, выпить лишнюю каплю. Не жизнь, а слежка за самим собой! — Я уже начинаю злиться, что не могу убедить, вынудить Ариана Павловича на операцию. Достаю из кармана письмо, где жена пишет: «Я сейчас ни богу свечка, ни черту кочерга», и молча протягиваю хирургу. Тот читает, выпятив свои узкие губы. Тяжело вздыхает. Барабанит пальцами заключительную очередь и решительно хлопает по столу ладонью:

— Ну что ж, если тебе так не терпится на тот свет, иди к директору института: разрешит — буду оперировать.

У меня гора с плеч сваливается: Ариан Павлович от своего слова не отступится.

— А где и когда я смогу к ней попасть?

Ариан Павлович минуту молчит. Потом уже обычным деловым голосом произносит:

— Уговорил. Сам пойду к ней. Постараюсь показать тебя ей.

Теперь все свободное время Ариан Павлович пропадает в читальне или у патологоанатомов. Он готовится.

По непроверенным данным, в институте не проходит ни одной пятиминутки, чтобы на ней не говорилось о моей персоне. Зоя Ивановна, докладывая о моем состоянии, всякий раз говорит в заключение:

— Снова спрашивал, когда будем оперировать.

Не только Ариан Павлович — многие врачи института ломают голову: как быть со мной и с другими, для кого повторная операция — и единственная надежда и смертельная опасность. Для института сейчас это вопрос номер один.

6

Несколько дней стояла такая солнечная погода, что глазам больно было смотреть в окно. А сегодня — будто солнце застряло где-то у горизонта, увязло в мягком снегу и никак не может взойти, уже скоро на «работу» (на обед) идти, а в палате — хоть свет включай. Снег идет большими хлопьями, тихо, одуванчиковым пухом опускаясь на землю, стирая четкость только что проложенных следов. На ветвях кленов, молодых березок и голубых елочек снег уже громоздится сказочными шапками.

После обеда приходит Зоя Ивановна. Она даже немного взволнована.

— Овчаров, поздравляю! Решили вас оперировать. Молодец, добились своего! Но прежде надо похудеть килограммчиков хоть на двенадцать.

— У нас, у курсантов, был девиз: наша главная задача — не похудеть! А теперь глазная задача — похудеть. Я ж говорю, что у меня давно все не как у людей.

С ее уходом в палате наступает небывалая тишина: погода такая сонливая, что убаюкала даже тех, кто страдает безнадежной бессонницей.

Проснулся, когда на улице уже зажглись фонари. Подхожу к окну. Снег все идет. В холодном свете фонарей все вокруг преобразилось, стало совсем неземным. Над бескрайним белоснежьем, сквозь колышущийся нетканый тюль бесшумно проносятся светлячки белого и желтого огня. Что из того, что это огни мчащихся автомашин — снег и ночь придали им, как и всему на свете, новую, фантастическую окраску… Что за снег! Что за чудный вечер! Людей на тротуарах становится все больше, они, обсыпанные снегом, призраками движутся в колеблющейся сетке хлопьев, будто паря в воздухе. А с мутно-черного неба все сыплет и сыплет. Этот вечер напоминает другой… Алма-Ата… Аленушка…

…Я пришел к тебе, а ты еще на работе. Твоя мама разрешила взять Иришу, и мы пошли с нею встречать тебя с работы. Пришли к твоему ателье. Чтобы скоротать время, стали играть в снежки. Ира неумелыми ручонками брала снег, отчаянно швыряла, но как-то так получалось, что весь он высыпался на нее же. Ее это не огорчало — ведь дядя Макар так визжит, так закрывается руками, убегая от нее. А я не спускал глаз с подъезда, из которого ты должна выйти.

Шел тихий пушистый снег, морозец был слабый, только-

только не таяло. Зажглись фонари.

Я приготовил пару снежков. Из ателье выходят люди. А вот и ты. Прошла несколько шагов, и тут тебе в воротник угодил снежок. Ты круто обернулась и едва успела прикрыться рукой: другой снежок, ударившись о локоть, рассыпался, обрызгав лицо и пальто.

— А, так вот это кто! — воинственно воскликнула ты, разбежалась и покатилась, балансируя руками, по накатанной ледяной дорожке. Я поехал навстречу. Мы сшиблись, ты на какой-то миг прижалась ко мне, мы невольно обнялись — ты тут же вывернулась и бросила в меня снегом. Я повалил тебя, стал умывать. Ты вертела головой, свободной рукой брызгала снегом мне в лицо и не хотела сдаваться. Вдруг меня окатило горячей волной: «Недаром говорят, сила есть — ума не надо…» Моя занесенная рука со снегом замерла. Ты смотрела на меня черными смородинами глаз, мерцающими в неверном свете уличных фонарей… Ты тяжело дышала, щеки раскраснелись, русые волосы выбились из-под съехавшего белого пухового платочка и казались черными, они были засыпаны снегом. Я ласково сбрасывал снег с твоих щек, подбородка, бровей. На лбу, на носу поблескивали росинки растаявших снежинок. Ты лежала, притихшая, хлопая ресницами с налипшим на них снегом. Я осторожно коснулся их пальцем — и ты закрыла глаза. И тени не осталось от твоей недавней воинственности. У тебя было счастливое лицо. Впервые за все месяцы нашего знакомства.

К нам притопала Иришка, потянула меня за воротник и заверещала так, что в ушах заложило. Я проворно вскочил на ноги, помог тебе подняться. Ты схватила дочурку и принялась целовать ее лицо, руки, и от каждого поцелуя у меня сладко сжималось сердце, будто эти поцелуи — мне. Ты поправила платок, мы стали отряхивать друг друга, но тщетно — влажный снег непрочно въелся в одежду.

А снег все шел и шел, расширенные глаза твои были необычайно красивы, ты вскидывала их на меня, и в твоем взгляде я чувствовал признательность.

«Ириша, дай папе ручку…» Я знаю, ты оговорилась. И смутилась. Я сделал вид, что ничего не заметил, и смущение твое прошло. А мне почему-то была приятна твоя оговорка… Мы шли медленно. Ира посредине: «папа, мама и я». Потом я взял девочку на руки. Ты просунула руку мне под локоть, прислонилась плечом к моему плечу. Такой уж это был вечер чистый…

Мы еще долго гуляли на улице. Я посадил девочку на шею и скакал с нею, как жеребенок, выпущенный на волю, убегал от тебя. Ты догоняла, щекотала дочку, Ира изгибалась, ерзала на

шее, и вы обе заливались смехом.

В тот вечер мы легко перешли на «ты». И оба сразу почувствовали себя свободней.

Когда поднимались по лестнице, ты шла впереди, оглядывалась на нас с Ирой и улыбалась смущенной, благодарной, немного грустной улыбкой.

…И сейчас, вспоминая эту улыбку, твой взгляд, чувствую, как сердце начинает биться сильнее и в груди разливается тепло.

Ира слезла с меня только в прихожей. Я снял с нее меховую шапку, пальтецо. Щеки у нее были красные, налитые, как спелый апорт. Она без устали прыгала, визжала, о чем-то мило болтала.

Сняв платок, ты запрокинула голову, потрясла ею, расчесывая пальцами волосы. В тот день ты была совсем девчушкой, гаврошем, мне казалось, что я старше тебя, хотя был на три года моложе, а Иришка — никакая тебе не дочь, а младшая сестренка.

Все эти месяцы тебя не отпускала, давила какая-то обида, я знал об этом по твоему взгляду, устало опущенным уголкам губ, знал по вялым, стесненным движениям рук. Я бы дорого дал за то, чтобы снять с тебя этот гнет…

И вот наступил день, когда улыбка, движения твои стали естественными. Я, наконец, увидел, какая Аленушка на самом деле.

Ты вприпрыжку убежала на кухню, крикнула оттуда:

— Проголодались? Сейчас будем ужинать!

Иришка потащила меня в комнату.

На нашу шумную возню, на перемену в дочери Анна Семеновна смотрела настороженными, немного удивленными глазами.

За ужином Ириша сидела у меня на коленях, и сколько ты ни уговаривала, ни приказывала ей сесть на свое место, всегда послушная Иринка на этот раз не подчинилась. Она отказалась и от своей тарелки, мы с нею ели из одной.

— Корми меня, — потребовала Ира, хотя ее давно уже не кормили с ложки. И я кормил ее. А она кормила меня…

Когда пили чай, она по очереди угощала из своей ложечки вишневым вареньем: себя, меня, маму.

Было светло, тепло, весело, уютно. Я был нужен там…

…Снег за окном все идет, обряжает Москву в белый пушистый убор.

Почему иные воспоминания так дороги нам?.. События давно канули в прошлое, им никогда уже не повториться въяве, а ты вспоминаешь все до мельчайших подробностей снова и снова… То, что связано с Аленушкой, стало для меня уже неким эталоном человеческих отношений. Это от нее заразился я жаждой

Настоящего, с тех пор меня другое уже не может устроить. А вот с Диной не получается почему-то… Что-то легковесное в наших отношениях так и осталось. Как ни старался их «заглубить» — не получилось. Теперь я это вижу. Я невольно все чаще сравниваю Дину с Аленушкой. Вернее, наши отношения.

А говорят, сравнивать — нехорошо. Это-де оскорбительно для тех, кого сравнивают.

Но ведь человек просто не может не сравнивать. Ведь, по существу, все наши понятия, наши представления об окружающем мире — весь процесс познания — продукт сравнений. Лишь благодаря сравнениям мы отличаем полезное от вредного, сладкое от горького, прекрасное от гадкого. Понятия добра и зла, благородства и подлости, наши симпатии и антипатии, привязанность и неприязнь, наконец, ненависть и сама любовь — результат сравнений. Выбор невесты или жениха — тоже плод сравнений наших: выбирая, сравниваем! И потому ханжа и лицемер тот, кто говорит, что сравнивать — нехорошо. Другое дело — ч т о сравнивать, по каким, так сказать, параметрам. Разумеется, если, скажем, кто-то сравнивает двух женщин только по их ножкам да персям… Но, положа руку на сердце, какой муж не сравнивал свою жену с другими и по этим «параметрам»!.. Я знаю, и меня с кем-то, в чем-то сравнивали Дина, Топоркова, Аленушка… И я сравнивал. Дину с Аленушкой. И с Надей Топорковой.

В следующий раз я вырвался в увольнение перед самым отъездом на стажировку. Прихожу к ним, а Ира лежит в кроватке с температурой: простудила горло. Она так обрадовалась мне!.. Тогда я впервые испытал нечто, что, наверно, и есть отцовское чувство. У нее в глазах светилась такая неподдельная радость! И я был благодарен этой крохе за то, что нужен ей. Мы сидели с Аленушкой рядом, совсем близко, наши колени касались… Но здесь, у Иришкиной кроватки, нас это почему-то не смущало.

А вот с Диной мы ни разу у Сережки так не сидели. Хотя он — родная кровь нам обоим. Ей этого почему-то не нужно было. Ей почему-то все равно, склонился я вместе с нею над кроваткой или нет. А Аленушке было не все равно. Я знаю. Ей было хорошо. Ей это было нужно. Над нами тогда зародилось и витало какое-то очень важное — таинственное и миротворное — единение. Я думал, что такое единение всегда неизбежно возникает между мужем и женой, когда у них появляется ребенок. Как я хотел, чтобы оно возникло у нас с Диной! Но оно так и не возникло. У нее почему-то не было в этом потребности. А я хотел, чтобы у нее — женщины, матери моего сына — зародилась потребность в таком единении.

Вот оглядываюсь назад и впервые так отчетливо понимаю, что мы с Диной ничего друг другу не дали. Мне горько это признавать, но мы ни в чем так и не обогатили друг друга. Ни в чем не стали лучше от того, что мы вместе. Мы так и остались — каждый сам по себе. Если б не Аленушка, возможно, и не знал бы, что между двоими может быть по-другому; считал бы наши с Диной отношения вполне естественными. С Аленкой я, по сути, виделся всего несколько раз. А какой глубокий след оставила она в душе моей. На всю жизнь. А ведь если разобраться, в ней ничего нет особенного. Просто она хотела обыкновенного, человеческого счастья. И знала ему цену. Научила этому и меня. И за это ей — вечная моя…

«Настоящее» — вот то единственное слово, с которым ассоциируется в моем сознании все, что связано с Аленкой.

…Нет, не было у нас с Диной той глубинности отношений. Сначала думал, она придет со временем. Не пришла…

…На вокзале рядом встать побоялась.

Ох, и длинна ты, ночь больничная. Чего только не передумаешь.

На улице уже не кружатся снежные хлопья, ветер сыплет в оконное стекло мелкой крупой. Людей на тротуарах не видно, даже машины угомонились. Ложусь в постель. Володя тоже не спит: ворочается, вздыхает.

— Ты чего не спишь? — спрашиваю шепотом.

— Скоро Новый год. Что бы придумать такое? Сестрам, врачам сделать бы что-нибудь приятное.

— Я уже надумал. Только не знаю, реально это или нет.

— А что?

— Хочу сделать новогоднюю стенгазету.

— Ты ж делал уже стенгазеты.

— Э-э, нет. Я хочу сделать такую, чтоб это действительно был подарок. Для этого много нужно. Я уже несколько ночей обдумываю. Будешь помогать?

Володя хмыкнул: спрашивает еще!

Завтра пойду к профоргу договариваться.

Днем разыскал профорга — высокую пожилую женщину, крашенную под блондинку. Она не возражает против новогодней стенгазеты. Но когда я показал список, что для этого нужно, да вдобавок сказал, что в палате нельзя делать (пропадет эффект внезапности), надо бы где-нибудь в кабинете, — она усомнилась в искренности моего намерения.

— А зачем вам елочные игрушки? Вы что, на стенгазету думаете их вешать?

— Я их истолку и сделаю заголовок.

— Делали бы обыкновенную, без всяких там фокусов.

— Обыкновенную вы и сами состряпаете. А я такой шедевр выдам — вся Москва сбежится смотреть. А вам, может, благодарность объявят.

— А где ж я возьму для вас отдельный кабинет?

— Ну что ж, если вы не можете, тогда я сам постараюсь. Меня осенила идея.

Однажды врач попросила сделать для нее на ватмане несколько таблиц. У нее маленький кабинет, там я и работал. Работой она осталась довольна и говорила, что считает себя должницей. Ну что ж, долг платежом красен. Я разыскал ее, объяснил, в чем дело, и она без слов дала мне ключ от кабинета. Другой врач, которому я писал для диссертации таблицы, принес три листа отличного ватмана. И я приступил к работе.

7

Навстречу по коридору идет Зина, она несет письма.

— Мне есть?

— Есть. И Боровичку вот. Официальное! — подает конверты. На одном из них — фиолетовый штамп.

— Ух ты! Академия медицинских наук! Уж не жалобу ли Боровичок накатал?

На другом конверте узнаю почерк матери. Как все малограмотные, она пишет большими корявыми буквами, адрес едва вмещается на конверте. Письма ее всегда обстоятельны, только без единой запятой. И вдруг — строчка… Несколько слов! Дойдя до такой строчки, я вдруг отчетливо вижу ее, вижу даже, какое выражение лица было у нее, когда она писала эти слова.

Тут же, в коридоре, вскрываю конверт, читаю:

> «Здравствуй дорогой наш сынок Макар!
>
> С чистосердечным приветом и наилучшими пожеланиями к тебе твои родители. Мы получили от тебя письмо за которое сердечное тебе спасибо. Ты пишешь что наверно будут делать операцию. Я бы на крыльях полетела к тебе да ты запретил мне приезжать в больницу. Мы вот тут посоветовались с отцом. Он может взять отпуск и приехать к тебе будет ухаживать после операции. Ты узнай когда ее будут делать и напиши нам. Все-таки в трудное время рядом будет родной человек. Это много значит. И у меня на душе спокойнее было бы. Отец привез бы тебе домашней колбаски чтобы после операции сил побыстрее набирался. И домашних компотов привез бы и малины протертой с сахаром и смородины это тоже очень полезно. Напиши подробно как тебя в Москве побыстрее разыскать. Дома у нас все в порядке. Выпало много снегу. Морозы сильные. Пиши чаще сынок. Мы всегда так ждем твоих писем! Привет тебе от всех родных. До свидания. Целуем. Мама и папа».

На крыльях бы прилетела. Читаю, а самому вспоминается…

…Поезд остановился на какой-то станции. Я лежу на нижней полке. Вдруг знакомый голос:

— Вот он!

Оборачиваюсь на голос и вижу красное потное лицо двоюродного брата, который живет в Инзе. Но лицо тут же исчезает… Выглядываю в окно: поезд стоит на станции Инза.

Снова его голос:

— Вот он!

Теперь брат стоит рядом — громадный, в промасленной спецовке, от его разгоряченной улыбающейся физиономии, кажется, пышет жаром. Он так запыхался, что едва переводит дух. Вдруг из-за его спины показывается мать. Я не верю своим глазам. Как она очутилась здесь, в поезде? Она тоже едва переводит дыхание. Склоняется надо мной, целует. Уткнулась лицом в грудь. Садится на краешек полки, стараясь унять слезы. В глазах — радость, тревога, печаль. Берет у брата хозяйственную сумку, вынимает из нее банку варенья, ставит на столик.

— Ничего больше не успела взять, — оправдывается она. — Получила сегодня твое письмо. Прочитала. Ненько моя, это ж сейчас поезд как раз из Ульяновска отходит. Я, не долго думая, банку варенья в сумку — и на асфальт. Думаю, может, успею, в Инзе поезд встрену. Хорошо, попутная машина сразу взяла. Я рассказала шоферу, он гнал, как сумасшедший. Даже отец не знает, что я поехала. Приехала — и к Геннадию. А он на работе. Пока разыскали его с шофером, а тут и поезд подходит. Геннадий побежал по вагонам искать тебя. Вот, успели.

У нее такой мягкий, уравновешенный характер. Всегда немногословна, больше слушает, что другие говорят. Делает все по-крестьянски неторопливо, основательно. Глядя на ее простое лицо, полную фигуру, натруженные загорелые руки, никто бы не подумал, что она способна на такой поступок. Это ж надо думать: ехать семьдесят верст, чтобы перехватить поезд…

В купе заглядывает девушка-проводница:

— Мамаша, выходите, а то уедете!

— Доченька, а ты разреши мне до следующей станции. Сын вот в Москву в больницу едет. Может, операцию будут… Я заплачу!

— Ладно, ехайте, — машет рукой проводница и исчезает.

Брат тискает мазутной лапищей мою руку:

— Выздоравливай, братка! — и бегом к выходу.

— А ты не мог раньше написать, что уезжаешь, — упрекает мать. — Я бы приехала, проводила.

Я виновато промолчал. Вспомнил, как Дина на вокзале старалась держаться в стороне, и подумал: хорошо, что мать не приехала…

— Ты напиши, если будут делать операцию. Я приеду, чтобы ухаживать за тобой.

— Мама, не надо приезжать. Ты ничем не поможешь. Будешь переживать — я же знаю тебя. А я тогда буду стараться казаться бодрым, стану беспокоиться, что ты волнуешься. Лучше всего,

если после операции никого из близких рядом не будет. Мам, везде хорошие люди есть. Мы там все друг другу помогаем. Я тоже ухаживал за оперированными. Знаешь, какая я сиделка! Ты не беспокойся. Вот когда выздоровею, вы тогда с отцом приедете, и я буду водить вас по Москве!

Сошла мать в Рузаевке.

Несу письмо Боровичку. Застаю его лежащим на койке, он слушает радио. Подаю письмо, говорю обиженно:

— Так-так, значит, секреты от меня завелись? Учтем.

Конверт с фиолетовым штампом приводит Володю в большое смущение. Он читает, поминутно зыркая на меня, не подглядываю ли. Я стою у своей койки, демонстративно уставясь в потолок, подрыгиваю ногой и посвистываю.

— Так дураку и надо, — бурчит Володя. У него дрожат руки и от смущения выступили слезы.

— Что случилось? — Я уже не паясничаю.

— А-а, — раздраженно машет рукой Боровиков. — Ты смеяться будешь… А, на! — Он протягивает письмо, зажмурившись и отвернувшись, точно ожидая удара.

— Чего это я буду смеяться? — успокаиваю его, беря листок.

> «Дорогой Володя!
>
> Получил Ваше письмо, и оно очень тронуло меня.
>
> Сразу же должен сообщить, что, конечно, с таким здоровьем принять в космонавты Вас не могут…»

Поднимаю на Володю удивленные глаза и не могу не нарушить обещания — улыбаюсь. Никогда не ожидал, что Боровик может отчебучить такую глупость!

Володя так покраснел, что взмок лоб.

> «Но Вы не огорчайтесь, — читаю дальше. — Даже из тех, у кого отменное здоровье, далеко не каждого желающего зачисляют в отряд космонавтов.
>
> Перечитывая Ваше письмо, я вновь и вновь убеждаюсь, что Человек станет властелином Вселенной!
>
> И то, что Вы, находясь в столь трудном положении, обратились к нам с такой просьбой — это очень здорово и делает Вам честь. («Деликатный дядечка», — думаю я.) Читая Ваше письмо, я не жалел Вас, потому что Вы, чувствуется, сильный человек и в жалости не нуждаетесь. И письмо Ваше было написано — это тоже чувствуется — из желания быть полезным людям. И не Ваша вина, что Вы не можете претворить в жизнь свои

высокие побуждения.

Я не утешаю Вас. Положение Ваше серьезно. Однако уверен, что все испытания Вы встретите, как и прежде, с честью.

Володя, напишите, пожалуйста, как пройдет операция у Вашего друга Овчарова, и вообще держите меня в курсе.

Я рад, что познакомился, хотя и заочно, с вами — мужественными парнями.

От всей души желаю вам скорейшего выздоровления.

Крепко жму ваши руки.

А. Лебединский»

Дочитав письмо до конца, чувствую, что, кроме деликатности, в письме промелькнули и серьезные нотки… Вспоминаю, как с неделю назад Боровиков дня два что-то писал, зачеркивал, снова переписывал…

— Володя, дай черновик. Гляну, чем ты покорил этого дядьку.

Боровиков достает из тумбочки три тетрадных листа, не глядя, подает:

— После покаялся, что послал, да поздно было.

Володя писал:

«Здравствуйте, уважаемый профессор Лебединский!

В журнале я прочитал, что Вы занимаетесь подбором кандидатур в отряд космонавтов. Мне самому моя идея кажется фантастической, и Вам, наверно, письмо это покажется смешным и глупым, но я все равно решил написать. Мне ведь неизвестна программа космических исследовании, возможно, она значительно шире, чем мы думаем.

Может быть, планируется изучение воздействия космоса на все живое и неживое, здоровое и нездоровое? Валентина Терешкова, когда писала Вам письмо, чтобы записали в космонавты, тоже не надеялась на положительный ответ. (Дальше Володя писал о своем состоянии, о Медынцеве, о том, что должны оперировать меня.) Если операция у Овчарова пройдет удачно, тогда и меня прооперируют. А умрет Овчаров — меня оперировать хирург уже не будет. Ему просто не разрешат. Вы врач, понимаете.

Так Овчаров если и погибнет, то в борьбе, он испробует последний шанс. А мне тогда покорно ждать смерти, как ягненку, которого выбрали на шашлык.

Овчаров хоть на границе успел послужить. А я в жизни ничего не успел сделать…»

Последние слова толкнули меня в сердце. Я понял все!.. Едва сдержал слезы. Делаю несколько глубоких вдохов — осаживаю подступивший к горлу комок. Боровичок оказался в западне, точно зверек, обложенный со всех сторон красными флажками, и решился на отчаянный, хотя и чудовищный по своей наивности шаг.

Краем глаза глянул на Володю. Тот сидит, обхватив руками колени, виновато уткнувшись в них лбом. Я достаю носовой платок, вытираю повлажневшие глаза, сморкаюсь. Читаю дальше:

«Если бы я мог быть в чем-то полезным, я, ни на миг не задумываясь, принял бы любое предложение. Погибнуть — так с пользой! Вот поэтому и пишу Вам письмо.

Ведь в длительном космическом полете кто-то из экипажа может заболеть. Значит, рано или поздно ученым придется разрабатывать методы лечения в условиях полета. Вот и разрабатывайте на мне!..»

— Ле-по-та! — не сдержавшись, говорю я.

«Все равно я сейчас подопытный кролик, и меня с таким же успехом может зарезать хирург, как могу не выдержать перегрузки.

Возможно, для каких-то больных условия в невесомости окажутся благоприятней, чем земные. Больной человек — не нормальный человек. Значит, для него нужны и ненормальные условия. Вдруг пенсионеры-гипертоники в невесомости окажутся работоспособнее здоровых людей?

Я согласен выполнить роль Белки, Стрелки. Согласен, чтобы о моем участии в экспериментах никто никогда бы не узнал.

Мне 17 лет.

Прошу извинить, если что не так написал».

Еще раз перечитываю ответ профессора. Нет, это не деликатная отписка.

— Вот ты говоришь, я успел на границе послужить. А мне сейчас кажется, что этого никогда и не было. Как сон… Красивый сон… Ты ведь тоже когда-то бегал, купался, собирал грибы. И считал, что так оно и должно быть. Вот и я. Если бы знал, что

ждет впереди, старался бы запомнить каждый день, упиться ветром, ездой на коне… Но жизнь так устроена, что когда имеем — не замечаем, ждем чего-то лучшего, необыкновенного, и никто-то тебе не скажет, что именно сегодня — сейчас! — самая счастливая минута в твоей жизни! И только потерявши все, начинаем понимать, что имели, но не умели ценить.

Мне взгрустнулось. В груди что-то скребет. Жалко Володю. Хочется обнять, приласкать, как младшего братишку, помочь ему. Но как? Как? И прежде понимал, что операция решает не только мою судьбу, но и судьбу Володи. А сейчас чувствую это с мучительной, пронзительной ясностью. Если бы кто-то мог дать гарантию, что операция будет удачной — сам бы пошел к хирургу просить, чтобы первым оперировали Боровичка.

Но такой гарантии никто не дает… Помочь ему можно только одним: выжить самому.

Помолчали. Оба задумчивые, притихшие, будто пришибленные. У Володи лицо измученное, как после тяжелого приступа.

— А ты молодчина. Не расстраивайся. Мне кажется, иногда то, что мог бы человек сделать, ценнее того, что он делает. Бывает, другой совершит что-то лишь в силу обстоятельств и на большее не способен. А другой в силу обстоятельств — вот как ты, например, — связан по рукам и ногам, но в нем такая силища! Дай ей только выход — гору своротит!

— Знал, что откажут. И все равно. — Володя вздыхает. — Рожденный ползать — летать не может!..

8

Об операции почти не вспоминаю — весь ушел в работу над стенгазетой. Она на трех листах ватмана. Уже вырисовывается общий вид. Хозяйка кабинета, заглядывая иногда в свои владения, просто в восторг приходит:

— Надо же, из березовых чурочек сложить заголовок… Чурочки — точно живые. А зайцы-то, зайцы! Захмелели! В одной руке бокал, в другой — морковка. Вам надо учиться на художника!

— Для этого нужен талант. А у меня только заурядные способности.

— Вы никому-никому не показывайте, пока не закончите. Она произведет колоссальный эффект! Сколько выдумки! А труда сколько!

Профорг несколько раз приходила посмотреть, что у меня получается. С каждым посещением ее интерес к газете возрастал, и она, наконец, из тормоза превратилась в помощника и предоставила все, что необходимо для работы.

Утром 31 декабря к газете было не пробиться.

— А как он Ариана Павловича изобразил! Крутит мясорубку, в нее падают пузатики, а вылетают такие стройненькие.

— Никто бы не подумал, что это сделано руками человека, который не знает, что с ним завтра будет.

К нам в палату идут больные, сотрудники института, поздравляют, желают и прочее. Весь день в палате шумно, празднично.

Приходит Зоя Ивановна и говорит, что нас переводят в хирургическое отделение. Стали прощаться.

— Вы уж извините… я тут частенько спорил с вами, возражал…

— И молодец, что спорили, — перебивает она мои извинения. — Мне было легко работать с вами. А что сначала у нас бывали маленькие конфликты — так мы просто не сразу поняли друг друга. — Она подает маленькую нежную руку мне, потом Володе:

— Ну, ни пуха вам, ни пера!

Мы хором отвечаем «к черту», берем свои вещички и идем на этаж выше.

Мы с ним снова в одной палате. Если я «проскочу», Боровикова тоже сразу на операцию. Легонько толкаю его кулаком в бок:

— Ты, брат, в дублеры ко мне назначен.

Не успели мы сложить в тумбочки свои немудреные пожитки, как входит Ариан Павлович. Стоит в дверях и смотрит на меня грустными глазами. Я смотрю на него, жду, что он скажет. Но хирург только тяжело вздыхает и уходит.

А я рад операции, как ребенок, которому сказали, что завтра его поведут на елку. И понедельника жду с таким нетерпением, с каким ребенок ждет Новый год. Сомнения, тревоги — все осталось позади. Все уже сто раз взвешено и пережито. Коль разрешили — значит, есть надежда. И потому — вперед, только вперед!

…В понедельник проснусь в новом мире — светлом-светлом, где все мне будет говорить: с новым счастьем! Даже не верится.

Нарочно рисую себе мрачные картины, но страха нет. Мне становится просто смешно, что я сам себе говорю: смотри, какая бука.

«Ну, а если?.. Не жалко оставить все это? — спрашиваю себя, как бы обращая мысленный взор туда, где жизнь бьет ключом. — Смотри, с чем тогда расстанешься, и уже — навсегда!»

Что ж тут мудрить или обманывать себя: жалко! Так ведь я — еще живой — уже лишен всего этого! Потерявши голову, по волосам не плачут. Или вернуть, — мысленным взором окидываю все, что хотел бы вернуть, — или…

Я отлично понимаю, что уже завтра могу — и очень даже просто — стать вторым Медынцевым. Но из всего этого меня беспокоит только одно: чтобы близкие не видели меня таким… Так они будут знать, что я болел, а потом ушел из жизни. На расстоянии они легче переживут. А увидят — воображение будет рисовать им ужасы, которых на самом деле и не было.

Сажусь и пишу письма родителям и жене, с неизменным юмором, как всегда писал о своем нелепом положении, объясняю обстоятельства, предупреждаю, что это я настоял на операции, и потому врачи не виноваты в моей смерти, и что завещал никого на погребение не вызывать. Еще пишу, что когда получат эти письма, меня уже не будет в живых. Подписываю конверты и отдаю Боровикову:

— Если зарежут, заклеишь и отправишь. Только смотри, не отправь нечаянно, если выживу, а то наделаешь делов!

Я покончил с трудным, щекотливым вопросом. Теперь можно послушать музыку. Ложусь на койку, надеваю наушники. В окно вижу кусок ясного голубого неба и крыши домов на противоположной стороне улицы. Под лучами полуденного солнца снег на крышах ослепительно белый. Русские народные песни звучат сегодня почему-то необычайно волнующе, навевая

щемящую грусть. Мелькает мысль: «Может, в последний раз слушаю радио?» А песню сменяет песня, под раздольные, с грустиночкой напевы думается легко. Я представляю, каким приеду домой, кого первого встречу, какое впечатление произведу на Дину… на Сережу… на родителей. И вижу себя очень худым, почему-то в шляпе. И непременно с тросточкой — эдаким франтом. Хотя у меня никогда не было ни шляпы, ни тросточки…

…Свершилось бы чудо: отворяется дверь и — входит Аленушка. Неужели так и не увижу тебя больше? Хотя бы раз, один-единственный!

…Наш курс возвратился из лагерей в училище, мы получили отпускные, проездные документы и разбежались кто куда, точно стая мальков от брошенного в воду камушка. Я проводил Ваню Истомина, а сам поехал к тебе. Принес цветы — розы — первый раз за все время нашего знакомства.

— И часто даришь цветы? — ты была немного смущена.

— Первый раз… — лицо мое полыхнуло жаром.

— Тогда они для меня еще дороже, — сказала, не отрывая взора от роз и нежно касаясь их пальцами, кончиком носа, губами. — Макар, а ты видел когда-нибудь эдельвейс? — спросила задумчиво.

— Нет. Слышал только, что растет он высоко в горах.

— А я видела. Один парень девчонке подарил. А как растет, не видела. Потом не раз представляла, как он растет там, высоко в горах. Кругом дикие, угрюмые скалы, нагромождения камней, и среди этих камней — белый цветок, одинокий, гордый и грустный… Под ветрами, под дождями он стоит и кого-то терпеливо ждет. Говорят, цветок этот найти не всякий может, он дается в руки только тому, кто умеет преодолевать любые трудности. Мужественным и добрым.

Ты стояла, устремив задумчивый взор куда-то ввысь. Мыслями в ту минуту ты была там, средь диких, угрюмых скал.

— Моя мечта — когда-нибудь подняться туда, где растут эдельвейсы, — сказала ты с затаенной тоской. — Стоишь на скале — внизу горы и облака, над головой такое низкое и такое бездонное темно-синее небо! На этом небе — яркое-яркое солнце. В ушах свистит ветер, и кругом — необъятный простор! Я тысячу раз представляла себе эту картину.

…Эта нетипичная сентиментальность твоя была так созвучна моей сентиментальности! Мне тогда тоже захотелось подняться туда, на дикие скалы, к эдельвейсам. И я сказал:

— Если б у тебя и завтра был выходной, мы бы пошли в горы.

Ты задумалась, прикидывая что-то в уме. Спросила:

— Когда приезжаешь из отпуска?

— В конце сентября.

— А я с двадцатого иду в отпуск. Давай тогда и махнем в горы! Можешь приехать на денек раньше?

— Да хоть на все пять… если ты не против.

Ты поднесла к губам цветы, качнула головой:

— Я не против. — И продолжала проникновенно: — Это моя заветная мечта. Я никому никогда не говорила о ней. А тебе вот — рассказала. Тебе — можно… Раньше я всегда представляла, что стою там, в поднебесье, одна. Маленькая-маленькая среди больших-больших гор. А теперь вижу, как мы стоим на скале вдвоем.

…Потом мы взяли Иришку и долго гуляли по городу. Были в зоопарке. Катались на карусели. Ели мороженое. Иру везде носил на плечах. Мы были как три добрых друга. Как две сестрички и старший брат.

Домой пришли в три часа. А в шесть отходил мой поезд.

Пока мы с тобой разувались в прихожей, Ира суетилась, разогналась было в комнату.

— Ты куда обутая? Это еще что такое? Сейчас же разувайся, — строго сказала ты. — А мы пошли в комнату.

В зале было прохладно, уютно. Посидели молча, отдыхая. Иры в комнате не было, и ты громко спросила:

— Ира, есть хочешь?

Никто не ответил. Тогда ты спросила еще громче:

— Ириша, ты где? Есть, говорю, хочешь?

Тишина.

Ты отворила дверь в прихожую. Обернулась ко мне, молча поманила. Я подошел и увидел Иру. Она сидела у порога и спала. Успела снять только один сандалик и держала его в расслабленной руке. Ты взяла девочку на руки, погладила:

— Ох, горе ты мое. Бедный ребенок. Замучили тебя. — Отнесла в комнату, положила в кроватку. — Ну и хорошо, что уснула. Не поедет на вокзал. А то реву было бы!

В комнату заглянула Аленкина мать:

— Альбина, выдь на час.

Ты вышла.

А когда вернулась, на лице у тебя было такое смятение, что я испугался:

— Что случилось?

Ты напрягала волю, чтобы казаться по-прежнему веселой, но у тебя получалась только жалкая улыбка. Уголки губ были так же устало опущены, как в первый день нашего знакомства.

— Не обращай внимания. Так. Получили не очень приятное письмо. Потом как-нибудь, — сказала, и тебе будто легче стало.

Когда обедали, ехали в автобусе на вокзал, ты была рассеянной, хмурила брови, тяжело вздыхала. О чем-то очень задумывалась. Потом будто очнешься, вскинешь на меня глаза, а в них столько всего! — не то нежности, не то боли… А потом снова уставишься в одну точку, хмуришь брови. А глянешь на меня — так сердце и зайдется от тревоги, словно тебе грозит что-то. Но мне неведомо — что. И не знаешь, чем помочь.

— Что случилось? — снова и снова допытывался я.

— Ничего, — едва слышно отвечала ты и клала свою руку на мою — успокаивала. — В письме напишу.

…Мы стояли у вагона. До отхода поезда осталось пять минут. Ты приблизила свои глаза к моим и все смотрела, смотрела — будто на всю жизнь хотела насмотреться.

— Поцелуй меня, теперь можно, — просто попросила ты. Я бережно обнял, поцеловал. Ты обвила мою шею руками, прильнула щекой к щеке и замерла, точно прощалась навеки… Поцеловала долгим поцелуем. Я не знал, что творится с тобою, меня охватило смятение. Невпопад чмокал тебя в глаза, в нос, старался прочитать в лице разгадку.

— Солдатик, поехали! — крикнула проводница.

Ты оттолкнула меня:

— Быстрей!

Поезд набирал ход. Я вскочил на подножку, снял фуражку, помахал.

Ты вся подалась вперед, не в силах сдвинуть с места ноги, словно они были замурованы в платформу перрона. А глаза твои… Сколько потом ни довелось мне видеть провожающих, больше таких глаз не встречал.

Вот когда я воочию увидел, как это — «полетела бы вслед».

Я махал и махал фуражкой, ты становилась все меньше и меньше; люди расходились с перрона, а ты стояла, пока поезд не перешел на другой путь и темный товарный вагон не заслонил тебя.

…А на фоне этих воспоминаний, неотступно — Дина, «провожает» меня в Москву… Ее глаза юлят, избегая встречи с моим взглядом. Пытаюсь представить ее на месте Аленки — не получается. Ей такое просто не дано. Не дано!

9

Наступил долгожданный понедельник. Мне кажется, что сегодня Первое мая — такое праздничное у меня настроение. И немного тревожно: только бы доктора не спохватились и не отказались от операции…

Часов в двенадцать приходит Зина:

— Вы готовы, Макар Иванович?

— Всегда готов, Зинка-корзинка! — салютую ей.

— Гражданин, попрошу не оскорблять, — с наигранной обидой говорит добрейшая Зина.

— Зиночка, золотце, прости, это я от радости, что ты пришла с доброй вестью.

— Так уж и добрая, — с сомнением хмыкает она. — Мне бы век такой вести не услышать — и не соскучилась бы.

Зина с Володей придерживают каталку, я влезаю на нее.

— Ну, Дублер, гуд бай.

— Смотри, не подкачай…

— Постараюсь.

Володя силится казаться спокойным, но бледность и бегающие глаза выдают волнение.

Зина везет меня в операционную. В коридоре почти никого, больные сидят по палатам, им тяжело видеть обреченного. Все знают, что пообещал мне Арианчик.

В «предбаннике» (так мы называем предоперационную) Зина спрашивает:

— Признайся честно: страшно?

Я смотрю на нее удивленно… Хотя над этим, наверно, каждый задумывается. У других не спросила — боялась вернуть больного к мысли о предстоящем?.. Или потому, что я так спокоен? Или — что после Медынцева?..

— Нисколечко. Будто и не меня собираются оперировать.

— Неправда, — не верит Зина. — Я понимаю, можно владеть собой, ни лицом, ни голосом не выдать волнение, но где-то в глубине все равно дрожь пробирает…

— Не знаю, выдает ли мое лицо волнение, но голос, когда волнуюсь, всегда выдает.

Я протягиваю руку ладонью вверх. Зина считает пульс — пульс нормальный, рука сухая, не дрожит.

Я спокоен. Все это проделываю, от души улыбаясь. На сердце легко и светло. Только восприятие всего окружающего обостреннее, я внутренне собран, словно перед выходом на борцовский ковер.

Но Зине не сумел бы объяснить, почему так.

— Ох, долгим покажется Володе время, пока буду в операционной. Зин, ты пригляди за ним. Может, ему успокаивающего какого?..

— Ладно, не беспокойся.

— Зиночка, не смотри ты на меня такими сочувствующими глазами. Думаешь, эта дверь в операционную? Нет, для меня эта дверь — в новый мир. Понимаешь?

Косые лучи вечернего солнца освещают белые шторы на окне… Это первое, что я увидел, когда пришел в себя. И первое, что подумал, было: «Вчера не в последний раз слушал радио». И первое ощущение — это легкость во всем теле, будто хорошо-хорошо выспался. Нигде ничего не болит. И что самое приятное — совсем не болит голова. Последние месяцы я вставал и ложился с головной болью, со звоном и шумом в ушах. Иной раз даже не верилось, что все это может когда-то кончиться. А сейчас голова какая-то легкая и светлая. Раньше я все щурился, меня раздражал свет, особенно искусственный, а сейчас хочется пошире открыть глаза!

Будто я вновь на свет народился.

Надо мной склоняется анестезиолог Алла Израилевна.

— Сколько длилась операция? — спрашиваю шепотом.

— Три часа.

«А тогда двусторонняя за два часа с небольшим».

— Ну что, поздравить тебя со вторым рождением? Ох и жарко кто-то молился за тебя! Когда разрезали, смотрим, все проросло спайками, жиром. Хирург работал скальпелем наугад: все до такой степени видоизменено, что не знаешь, что режешь. Добраться до твоего надпочечника было не легче, чем пьяному пройти по минному полю и не взлететь на воздух. Ариан Павлович был весь мокрый. А когда вынул надпочечник, говорит: «Чертов хохол, сколько он мне крови попортил!» Сам же довольнешенький. Операционная сестра говорит: «Ариан Павлович, не кривите душой, мы же знаем, что Овчаров — ваша симпатия». В ответ: «Раз он для вас такой хороший, так и зашивайте его сами. А я мою руки». Бросил инструменты, вымыл руки и побежал к директору института показывать надпочечник. Говорят, по коридору бежал вприпрыжку! Мы уже без него тебя зашивали.

В палату стремительно входит Ариан Павлович. Улыбался бы шире, да некуда: уши не дают.

— Нашел! — почти выкрикивает он. Я подозреваю, что хирург уже заходил куда-нибудь в укромный уголок и там плясал от

радости танец дикарей — так сияло его лицо, так порывисты были движения.

— Как себя чувствуешь?

— Хорошо… очень легко… спасибо…

Ариан Павлович видит, что на это «выступление» у меня ушли все силы, мягко кладет руку на плечо и непривычно ласковым, хрипловатым голосом говорит:

— Лежи, молчи. Только поглубже дыши, чтобы пневмонии не было. Да ты теперь сам не меньше врачей знаешь, — подтрунивает он.

Из-за спины хирурга выглядывает сияющая мордашка Боровикова.

Я впадал в забытье, снова приходил в себя. Просыпаясь, видел у своей кровати то Ариана Павловича, то Аллу Израилевну. То сразу обоих. И всегда — Володю: серьезного, с нахмуренными бровями.

Домой врачи не ушли и всю ночь почти не отходили от меня.

И следующие две ночи Ариан Павлович провел в отделении — мое состояние не внушало доверия. Днем хирург работал, как всегда.

Навестить меня приходили больные, врачи, сестры других отделений, лаборантки, лифтеры. Все те четыре часа, пока был в операционной, они то и дело справлялись друг у друга, у сестер хирургического отделения: «Ну как?» — но никто ничего не мог сказать определенного. А когда увидели сияющего Арианчика, пролетевшего по коридору и нырнувшего в кабинет директора — по этажам института полетела весть: операция прошла успешно! Теперь каждый выбирал минутку, чтобы забежать в палату: удостовериться, поздравить хирурга; помочь, улыбнуться больному; не утомляя расспросами, угадывали, хочу ли я смочить пересохшие губы, надо ли поправить подушку, подоткнуть одеяло…

Несколько раз наведывалась Зоя Ивановна.

— А вы говорили, нельзя оперироваться, — напоминаю ей. Зоя Ивановна молча пожимает плечами, мол, было дело, и улыбается своею доброй улыбкой.

— Зояванна, а что вы посоветуете делать дальше: если не похудею, удалять другой надпочечник или нет? — спрашиваю уже серьезно.

— Лечиться так лечиться.

— Вас понял.

10

Пробую вставать. Володя уже у койки, опираясь на костыли, подстраховывает. Постояв немного, осторожно иду к окну. Направляюсь обратно. В это время в палату входит Ариан Павлович. Довольный, сложил руки на груди, подпер плечом косяк.

— Наша взяла, — мурлычет он.

— А-а, теперь «наша взяла»! А кто говорил: оперировать повторно нельзя?

Хирург с шумом втягивает носом воздух, улыбается и кивает головой.

Володя сияет, будто он сегодня именинник. Ариан Павлович смотрит на него и как бы между прочим говорит:

— Готовься на понедельник.

От неожиданности Володя открывает рот. И вдруг хлопает в ладоши. Хирург смеется и говорит, кивая в мою сторону:

— Для тебя хорошая примета, — и трижды дует, сложив губы трубочкой. — Не забудь: в воскресенье вечером ничего не ешь.

Я протаранил Боровичку дорогу.

В этот день Володя написал профессору Лебединскому, что мне была сделана операция, и я уже хожу. И что его, Володю, в понедельник тоже оперируют.

В понедельник с утра чувствую себя не очень хорошо и вставать не спешу. А после завтрака еле пришел из столовой. Но по палате стараюсь идти так, чтобы Володя ничего не заметил. А то еще расстроится перед операцией.

Приходит Нина, отворяет широко дверь, больные ввозят каталку. Боровиков взбирается на нее. Я приглаживаю ему волосы:

— Давай, космонавт, потихонечку трогай.

Володя улыбается тревожной улыбкой. И вдруг в глазах вспыхивает озорство:

— Пан или пропал!

Показываю ему кулак.

Боровичка увозят, и я снова ложусь. Что-то совсем скис.

То и дело поглядываю на часы. Узнать бы, как идет операция. Отчего бы это слабость такая? Может, вчера на радостях лишку переходил?.. Пошел четвертый час, как забрали Володю…

Наконец в дверь просовывается красное толстое лицо больного из соседней палаты:

— Везут!..

Только встал, направился к двери — приходит Зина. В руках у нее сверкающий никелем бикс.

— Куда разогнался? А ну ложись.

Ложусь на бок, задираю рубашку, приспускаю штаны. Сестра ставит бикс на стул, наклоняется, повернувшись ко мне спиной. Коротенький халат ползет вверх… Перед глазами — красивые ножки в капроновых чулках, отливающих медью, выше, на бедрах, кожа гладкая, упругая, еще не утратившая загар… Закопошились грешные мыслишки.

— Где так загорела?

Зина, как укушенная, поворачивается на девяносто градусов.

— У-у, бесстыдник!

— И погладить не успел.

Она, смеясь, стучит кулаком по стулу:

— Замолчи, а то получишь!

— Зинка-корзинка, сделай побыстрей, Боровичка из операционной уже привезли.

— Молчи, бесстыдник, — стрельнула глазищами. — Никуда твой Боровичок не денется. Не ожидала, что ты такой нахал.

— Кхе-хе-хе…

— Не трясись, — стукнула легонько по плечу. — Заработаешь сегодня.

Снимает повязку… и тут же опускает ее на рану. Быстро выходит из палаты.

Через минуту возвращается с Арианом Павловичем. Он еще в «кальсонах» — белых штанах — и в бахилах — тряпичных сапогах (экипировка, в которой хирург стоит у операционного стола), на шее висит марлевая маска.

Снова снимают повязку, что-то внимательно рассматривают. На ум сразу приходит Витя Медынцев… Настораживаюсь, весь внутренне подбираюсь, точно жду выстрела из засады. Готов к самому плохому.

— Что там еще?

— Шов разошелся. Лежи и не вставай, а то кишки растеряешь. Запрещаю даже садиться.

Ариан Павлович озадачен: все шло так хорошо — и на тебе.

Беру небольшое зеркало, через него осматриваю рану. Здорово раскроили! И это из-за какого-то надпочечника? Да через такую прореху все внутренности скопом вынуть можно.

— Ну хватит, убери зеркало.

— А долго придется лежать?

— Эта дыра не скоро зарастет, — недовольно бурчит Ариан Павлович.

— Ничего, на живом заживет, — говорю беззаботно. Я в

самом деле уверен, что если надпочечник удален, то в конечном счете все будет хорошо. А на идеальное послеоперационное течение я и не рассчитывал.

— Боровиков спросит, почему не идешь, — скажем, что ты рано начал ходить, прорезался один шов и тебе надо полежать. Он ни в коем случае не должен знать, что у тебя случилось, — грозит пальцем хирург.

— Есть, не должен знать.

— И никто не должен знать. А то кто-нибудь да проболтается Боровикову.

— Будет сделано.

И над Володей трое суток ангелом-хранителем просидел одержимый Арианчик.

Когда Боровикова перевели из послеоперационной на старую койку, сестра, делая мне перевязку, становилась так, чтобы Володя не видел рану.

На перевязки часто приходил хирург.

Но однажды Боровиков все же увидел рану. Ариан Павлович как раз промывал ее. Володя вошел в палату и испуганно ахнул:

— И-и… что это?

— Загноилось, — отвечаю. — Сказали, нитка прорезалась, я и полез пальцем — проверить. Занес инфекцию.

— Разве ты не знал, что нельзя в рану лезть?

— Знал. Машинально получилось. Не успел сообразить, а палец уже там! Зина шлепнула меня по руке, да уже поздно было.

— Эх ты.

Володя поверил…

Когда он ушел, Ариан Павлович покачал головой:

— Ну ты и друг! С вами ухо востро держи. Глядишь, и нас еще вокруг пальца обведете. Врет так складно, что и я поверил бы.

У меня снова повышается давление — оставшаяся часть правого надпочечника с успехом работает за двоих.

А Боровиков быстро пошел на поправку.

11

В палату на минуту заходит лифтерша со своей внучкой. У меня даже мурашки в пальцах забегали — так вдруг захотелось погладить детскую головку, заглянуть в ее хитроватые глазенки. Спрашиваю, как ее звать. Но девочка испуганно смотрит на толстого лохматого дяденьку и прячется за бабушку. Я подмигиваю девочке, показываю язык. Девочка улыбается и тоже показывает язык, но, застеснявшись, прячет лицо в бабушкин халат.

— Так как же тебя звать?

Скосив на меня большой карий глаз, она отвечает:

— Таня.

— Танечка, хочешь, я тебе стишки почитаю, картинки покажу?

Девочка робко приближается, ведя за полу халата и бабушку.

— Рассказать тебе сказку?

Таня согласно кивает и отпускает бабушкин халат.

— Тогда слушай…

…И я рассказываю ей сказку, которую придумал для Сережки.

Однажды, читая сыну книжку, я назвал маленького героя Сережей. Сергею это понравилось. Тогда я стал сочинять истории, героем которых был мальчик, который очень напоминал Сережу. Он был и положительным и отрицательным — когда чего заслуживал. За сказками пошли стишки. Пусть самодельные, пусть корявые, но сын приходил в восторг, когда узнавал в них себя. К стишкам и сказкам я рисовал картинки, в которых Сергей признавал себя и подружку Тому — соседкину дочь.

Чтобы как-то смягчить тоску по сыну, чтобы передать ему хотя бы частицу своей ласки, пишу для него стишки, рисую иллюстрации и посылаю в письмах. Боровичок переписывает мои вирши, через копирку сводит рисунки и отсылает своей сестренке на далекий Сахалин.

Таня ушла. Девочка разбередила мне душу. Я размечтался и засмеялся вслух.

— Ты чего? — удивился Володя.

— Да вспомнил, как с Сережкой первый раз рыбачили.

…По крутому склону, поросшему росной травой, спускаемся к воде. Вода словно отдыхает. Вовсю играет рыба, рисуя на воде бесчисленные круги. Еще не совсем рассвело. Пахнет полынью и водорослями. По обоим берегам — заросли тальника. В тальнике, в траве щебечут птицы. В стороне, у самого берега, густой камыш.

Здесь должен быть хороший клев. Направляемся туда. Только приблизились — в камышах сильно плеснуло. Сергей вздрогнул.

— Что это? — Затаив дыхание, он смотрит на меня расширенными глазами.

— Щука, — отвечаю спокойно.

Малыш переводит дух, оглядывается на большие круги, качающие камыш. Камыш шелестит. В его шелесте что-то таинственное и мудрое. И какая-то тоскливая покорность…

— А большая?

— Должно быть, большая.

— Давай поймаем ее? — шепотом — наверно, чтоб она об этом не узнала, — говорит Сергей.

— Ну прыгай.

— Не-ет, удочкой.

— Этой щуку не поймаешь.

Клевало хорошо. Но у Сережи не хватало выдержки, он дергал, чуть только шевельнется поплавок.

Над кручей загоготали гуси, спускаются по склону. Попискивают еще не оперившиеся гусята. Сережа, пригибаясь, подкрадывается к ним. В длинном ватнике, в облезлой шапке, он похож на маленького дикаря, подбирающегося к добыче. У меня с собой фотоаппарат. Должны получиться неплохие кадры.

От стада отделяется гусак. Вытянув шею, он шипит и гонится за Сергеем.

— Ма-а! — орет малыш, убегая.

Я запечатлеваю сцену и кричу:

— Не убегай! Возьми вон хворостину и прогони его.

Сережа хватает сухую ветвистую хворостину и начинает наступать на гусака короткими, шажками, выставив, как фехтовальщик, ногу. Боком, нехотя гусь пятится к воде. Отступает с достоинством, по-рыцарски. Скучившись, гусята спешат к воде, помогая себе взмахами куцых, неоперившихся крылышек. Добежав до воды, плюхаются и быстро отплывают от берега.

Последним оставляет берег рассерженный гусак.

Успокоившись, гуси плывут дружной семейкой к противоположному берегу.

Сын бежит, размахивая хворостиной, и кричит:

— Папа, я его победил!

— Молодец. Вот так и надо. Никогда не отступай! Побеждает только смелый… А вот рыбки ты так ни одной и не поймал.

— Она не хочет на мою удочку ловиться.

Беру его удочку и через минуту выуживаю рыбку. Протягиваю ему удилище. После нескольких неудач Сергей, наконец, подсекает пескаришку. Он быстро приловчился и стал выуживать

рыбок чаще, чем я.

Вдруг клевать перестало — как отрезало. Поплавки, недавно такие жизнерадостные, теперь удручающе замерли. Мы заменили на крючках червей. Закидывали и ближе к берегу, и дальше. Нет, не берет.

Клюнуло у Сережи, но как-то вяло. Еще раз шевельнулся поплавок. И вдруг в мгновение ока ушел на метр под воду.

— Тащи!! — не выдержал я.

Сережа потянул. Но не тут-то было! Леска натянулась, упруго дрожит, в глубине, тускло поблескивая, мечется большая рыба.

— Никак…

Встать на ноги — для меня дело не простое. Да и не смог бы я справиться с такой рыбиной. Я только сжимаю кулаки и азартно повторяю:

— Тяни ее! Тяни!..

Сжав зубы, бледный, кроха уперся ногами в землю и тащит изо всей силы. Над водой показывается поплавок. Добыча все ближе к берегу. Мечется. Леска с бульканьем рассекает воду.

Только рыбак может, понять, что это такое!

И вот рыбина взлетает в воздух. От неожиданности Сергей садится. Большой окунь, граммов на четыреста, описав сверкающую дугу, падает в лопухи, срывается с крючка и, подпрыгивая, скатывается к воде. Проворно, как дикий зверек, Сергей кидается к нему, хватает дрожащими руками. Сильно трепыхнувшись, окунь вырывается. Сергей падает на него животом. Крепко берет обеими руками и бросает в ведро. Вода там сразу закипает, ведро ходит ходуном. Сережа исступленно скачет вокруг и тянет на одной ноте:

— А-а-а-а-а-а-а!!!

Перекатываясь, крик несется по реке: «А-а-а-а-а!.. А-а-а-а!.. А-а-а!..»

— Ну, рыба-ак! Вот это рыбак!

Уху едим деревянными ложками из солдатского котелка. Отяжелевшей рукой малыш подносит ко рту ложку и медленно цедит сквозь зубы пахучую, настоявшуюся юшку. Наконец кладет ложку в пустой котелок и смотрит в него осоловелыми глазами.

Домой приходим в десятом часу. Приносим букет ромашек. Сразу ложимся спать.

Я просыпаюсь раньше Сережки. У меня возникает стихотворческий зуд, и я принимаюсь сочинять стишок.

12

Теперь Таня, как придет к бабушке на работу, бежит к нам в палату и просит почитать стишки, рассказать сказку.

А сегодня она входит как-то бочком и встает у стенки, держа руки за спиной.

— Дядя Макар, пляши!

— Я ногами не могу, можно руками?

Танечка согласно кивает.

Я покачался на панцирной сетке, размахивая руками.

— Теперь давай письмо. В армии так положено.

Девочка подает конверт.

— От кого? — спрашивает Боровичок.

— От Ваньки! Нет, ты только послушай!

«…Недавно у нас было вооруженное столкновение с контрабандистами. Меня немного царапнуло. В плечо. Кость не задело. Валя делает мне перевязки. В санчасть не поехал.

Зачем, когда дома свой лекарь? Говорит, не зря все-таки училась на фельдшера, хоть раз пригодилось.

Нет, лучше все по порядку. Так вот, несколько контрабандистов перешли границу.

Было очень темно, моросил дождь. Выбрали же времечко!

В четвертом часу послышался приближающийся топот. Я окликнул: «Стой!» Головной ударил на мой голос из автомата. Я дал ответную очередь. Солдаты тоже подняли стрельбу. Вдруг улавливаю: топот удаляется. Уходят. Быстрее вдогонку! Коновод подвел лошадей, я — в седло и сразу коня в галоп. «Ракету!» — кричу. Дали ракету. Метрах в двухстах увидел нарушителя. На полном скаку, почти не целясь, выпустил по нему длинную очередь — сколько оставалось в магазине патронов. А стрелял трассирующими. Смотрю, один красный светляк достиг цели. И ракета погасла.

Спешились. И тут почувствовал боль в плече, рука как не своя. Потрогал — дырка в полушубке. Вспомнил, что когда тот стрелял по мне, как будто в плечо что-то толкнуло. Но было не до этого.

Ну так вот, спешились мы, и давай ракеты бросать, освещать местность, чтобы нарушителю не дать ходу.

Стали окружать его. А он залег за камнем и ведет огонь. И мы постреливаем. Он, чувствуется, нервничает, бьет длинными очередями. Ну, патроны у него быстро кончились. Из пистолета стрелять не стал, отбросил его и поднял руки.

У нарушителей оказались сумы с поклажей.

Только управились, смотрим, нам подмога с заставы скачет. Вскоре и повозочный на бричке прикатил.

Глядь, а в бричке моя Валюха сидит, с санитарной сумкой. И сразу: «Раненые есть?» Перевязку, что мне солдаты наложили — долой, сделала все по-своему. Вот тут она покомандовала мною! Отвела душу. Я начал ее ругать: «Зачем приехала?» А она мне: «Молчи! Власть переменилась!»

Сложили на повозку трофеи, посадили пленного. Рядом с ним жена и меня посадила. А сама на моего коня села. «Теперь поехали!» — говорит.

Сегодня сказала, что еще несколько перевязок — и рана совсем заживет. Такие дела».

Ай да Ванька, ай да тихоня!.. А каким он пришел в училище!..

…Мы с ним попали в одно отделение. Меня назначили пулеметчиком, его — вторым номером… Будто сейчас вижу, как нас, салажат, первый раз подняли по тревоге. В казарме стоит гвалт. Между коек мечутся полуодетые фигуры, у пирамиды с оружием, у вешалки, где висят шинели, — свалка. Наконец курсанты потянулись к выходу. И тут я вижу, что Истомин спит. Сдергиваю с него одеяло, трясу за плечи. Спросонья Иван вырывается, хочет спрятать голову под подушку. Потом ошалело смотрит на меня большими телячьими глазами.

— Тревога, понимаешь?!

Иван садится в кровати по-татарски, поджав под себя ноги, потягивается, трет глаза. Со злостью швыряю в него брюки:

— Надевай!

Натягиваю ему на голову гимнастерку, наматываю на ноги портянки, с сердцем втыкаю ноги-в сапоги. Толкаю к пирамиде:

— Бери оружие! — сам прихватываю его вещмешок.

В казарме уже никого. Истомин застегивает на бегу шинель, я несу его оружие и амуницию. Строй встречает нас дружным хохотом.

Всегда приносил короб новостей. Ребята откровенно потешались над ним:

— О, Последние известия пришли…

Иван не понимал, что над ним смеются. Приносил он обычно

неприятные новости. Предсказания его всегда сбывались, и ребята тогда злились:

— Опять накаркал.

Иногда кто-нибудь в шутку спрашивал:

— Ванька, чё седни на ужин?

И Ваня на полном серьезе отвечал:

— Гуляш. На гарнир — горошница.

Если он не пошел собирать новости, значит, решает шахматные задачи. Это было единственное, что он умел делать хорошо. Теория давалась ему легко. Но когда доходило до практики, Иван делал все, что угодно, только не то, что требовалось. Для взвода это всегда были веселые минуты! Парень старался изо всех сил, но со стороны казалось, что он просто большой мастак разыгрывать. Когда же возникала угроза какой-нибудь работы, первым движением его души было увильнуть, отказаться, спрятаться. Ему было просто неведомо желание в чем-то испытать себя, попробовать собственные силы. Старшина, командир отделения, то и дело покрикивал на Истомина. Истомин на курсе стал притчей во языцех:

— Опять Истомин!

…Нас с Иваном послали сделать уборку в учебном классе. Я составляю друг на друга столы, он стоит на подоконнике, вытирает стекла. Но от его вытирания на стеклах появляются только мутные завитушки. Я влезаю на подоконник, раскрываю ему премудрость вытирания стекол. Он смотрит на меня безвинными телячьими глазами. Я даже злиться на него не могу. Только спрашиваю:

— Где ты рос? Почему ты такой беспомощный?

— Баловали меня, — признается он с подкупающей наивностью. — Отец с матерью разошлись, воспитывали мама с бабушкой. Ванечка, не бегай, Ванечка, не прыгай, замараешь ручки, вспотеешь, простудишься. Я ни разу тарелки за собой не вымыл. Все подадут, принесут. Чтоб дома я ел перловую кашу или горошницу? Ты не представляешь, как мне здесь трудно. Поначалу думал, сбегу или помру. Взял первый раз в руки половую тряпку, а она мокрая, холодная — бррр! А тебе здесь очень трудно?

— Мне — нормально. Пешком я много ходил. Мозоли на руках зимой и летом. Надумал идти в военное училище, стал готовить себя. Я ожидал, что здесь будет намного жестче…

…Сделав зарядку, выбегаю на улицу, умываюсь первым снегом, докрасна растираюсь полотенцем.

Неповторимое ощущение! В такие минуты я иногда ловил себя на мысли, что нечто подобное испытывает птица в полете:

легкость в теле, бодрость — необычайные!

Прошу Ивана растереть спину. Он смотрит на меня с робким почтением, точно Моська на Слона. Это щекочет мое самолюбие. И в то же время злюсь:

— Чего уставился, как на памятник?

Спину трет как-то по-лакейски. Хотя он стоит сзади, я будто вижу его почтительно полусогнутую спину.

— Макар, а как ты начал закаляться? — спрашивает он.

— Да как? Увидел в кино, как в проруби зимой купаются, завидно стало. Начал умываться снегом. Потом в сугроб стал зарываться. Хочешь, завтра вместе пойдем?

На следующий день Иван идет вместе со мной. На первый раз я мазнул его снегом по рукам, по груди, натираю лицо, уши. Он кряхтит, ухает, охает… Потом докрасна растираю полотенцем.

Иван начинает похохатывать:

— Ой, как здорово!

В нем словно распрямилась какая-то пружинка…

13

Операции по удалению одного надпочечника прошли успешно. Но «Кушинг» остался: второй надпочечник берет на себя функции удаленного. Круг замкнулся. Ариан Павлович говорит, что разорвать его можно, лишь удалив оставшийся надпочечник. Эксперименты на животных прошли успешно. Однако тут встал новый психологический барьер: больным придется всю жизнь принимать искусственные гормоны. Сможет ли такой организм в будущем противостоять инфекциям, физическим и психическим перегрузкам? Или первый же грипп, любая травма или непредвиденная операция окажутся для организма губительными? Ведь гормоны надпочечников олицетворяют собой защитные силы организма. Даже при частичном удалении невозможно было предвидеть, как поведет себя организм. Один в день принимает две-три таблетки искусственного гормона, другой совсем не принимает, а у третьего рецидив…

Состоялся консилиум. Было решено произвести операцию по удалению второго надпочечника. Честь идти первым на такую операцию выпала Боровичку.

В состоянии ли будет организм, лишенный естественных гормонов, противостоять неблагоприятным факторам — на это сможет дать ответ только время…

* * *

На пятый день после операции Боровиков делает попытку встать. Он садится на койке, берет костыли, осторожно опускает ноги на пол. Распрямляется. На лице возникает странная гримаса… У меня в груди все так и оборвалось…

— Что? Надо крикнуть кого-нибудь на помощь?

Но Володя вдруг отставляет костыли, брови у него встают шалашиком. Он не может выговорить ни слова и только качает головой: не болит.

— Ле-по-та… Эй, люди, сюда-а!

В коридоре раздаются торопливые шаги, дверь распахивается, вбегают двое больных с обеспокоенными лицами. Я показываю на Володю пальцем:

— Смотрите, какие штучки мой Дублер откалывает!

Дублер, переставляя ноги, как паралитик, идет, держась за спинку кровати, и не верит еще, что это он навсегда уходит от костылей, невыносимых болей — уходит от «Кушинга»…

В палату спешат люди с тревожными лицами, но, узнав, в чем дело, в мгновение преображаются: смеются, перемигиваются, балаганят:

— Боровичок, пошли в коридор в чехарду играть.

— Да на нем уже пахать можно!

— Во дает. Ну чисто — Майя Плисецкая.

— Эй, публика, не сглазьте его!

Мне, наконец, тоже разрешили вставать. Теперь мы с Володей соревнуемся: кто из нас медленней ходит. Я передвигаюсь с тросточкой.

В палате освободилась койка, и к нам положили старого знакомого, Зануду. У него щитовидка. Ему и раньше предлагали оперироваться, но он отказывался. Однако болезнь свое берет: Зануде пришлось вернуться и просить, чтобы снова приняли. На нем своя шикарная пижама, мягкие комнатные тапочки. Он знакомится с обстановкой. В хирургическом отделении он впервые.

Сестра делает Володе перевязку.

— Это кыто такая? — шепотом спрашивает у меня Зануда.

— Перевязочная сестра.

— Она и меня будыт перевязыват, да?

— Она всех перевязывает.

— О, дэвушка! Ка-кой ма́ладой, сы́мпатычный, — обращается он к ней. — Я хачу вас у́гастыт. Угащайтэс пажалуста, — раскрывает коробку дорогих конфет. Сестра отказывается. Зануда набирает горсть и высыпает ей в карман. Та смущается, благодарит.

Так он угощает всех, кто будет его лечить: мелкую сошку — всех из одной коробки, а для тех, кого считает поважнее, открывает новую. Еду Зануде приносит жена. Дежурная сестра спрашивает, почему он не идет в столовую. Зануда поднимает брови:

— Я же нэ свинья, читобы жрать ба́льничную пищу. Я же гатовлус к а́пирации.

Сказать Зануде пару ласковых? Да разве до него дойдет? Я уже знаю его. Это не ребенок, который по неопытности может что-то сказать не так. Нет смысла даром тратить порох. Мы игнорируем его. На праздные вопросы не отвечаем, советуем обратиться в Мосгорсправку. Возвратясь из столовой, вылизываем по-шутовски стаканы, ложки, похрюкиваем. Зануда понимает, в чей огород камушки, но не смущается: он верен себе.

Жена приносит Зануде еду несколько раз в день. Тумбочка, стол, подоконник завалены продуктами. Под койкой, в раковине

умывальника валяются огрызки. Санитарки не успевают убирать за ним, заочно клянут его, но с ним разговаривают учтиво: он каждый день дежурной санитарке, не глядя, сует в руку рублевку.

Володя подмигивает мне:

— Насобачился.

Зануда и прежде жил в больнице роскошно, а поступив в хирургическое отделение, возвел себя в ранг великомученика и требует от жены и персонала удесятеренного внимания.

С моей легкой руки у Зануды появляется новое имя: Пуп Земли.

Но вот Зануду прооперировали. Теперь жена ходит в магазин только два раза в день. Остальное время сидит подле него. Дежурная санитарка тоже почти не отходит — он теперь дает по трешке, такса повысилась. Однако трудно отрабатывать эту трешку.

Зануда уверен, что за деньги можно купить все. Он не ходит в туалет, хотя ему разрешили вставать. В палате потребует утку, а потом идет гулять по отделению.

Если утку выносит жена, бранит ее — ведь он платит санитарке! А жена сгорает от стыда и, как может, старается помочь ухаживать за ним — вопреки его грубым внушениям, которые он делает ей по-грузински. Она стоит молча, как провинившаяся девчонка, не смея поднять взор на своего грозного господина.

Наконец Зануду выписали, и всем стало легче, будто расстались с больным зубом.

На радостях отправляемся с Боровичком на первый этаж за утренней почтой. В вестибюле кого-то поджидает респектабельный мужчина: лакированные туфли, в холеной руке с золотым перстнем — министерский портфель, сытая, самодовольная физиономия, кавказские усики, золотой зуб во рту… Сначала я даже не признал в нем Зануду…

14

Володя быстро идет на поправку. А у меня с каждым днем рана становится все хуже.

С сестрой на перевязку приходит Ариан Павлович. Садится на Володину койку, напротив меня.

— Придется, наверно, делать тебе ревизию. Посмотреть, не зашил ли там ножницы, — мрачно шутит он.

Володя лежит за спиной хирурга, слушает, глядя то на него, то на меня.

Ариан Павлович поворачивает лицо к Боровикову, ерошит ему волосы:

— А ты заказывай билет. Дней через пять выпишу. Тебе с какого вокзала?

От радости Володя пискнул, закачался на панцирной сетке.

— Тише ты, меня столкнешь, — урезонивает его Ариан Павлович.

— А мне не на поезд — на самолет.

— Где ж у тебя такие деньги: на Сахалин — самолетом?

— Горздрав выдал. Самолетом туда и обратно.

— Сколько ж билет стоит?

— Туда и обратно — триста. Третий раз сюда приезжаю, и каждый раз — самолетом. Горздрав оплачивает.

— Да, братцы, если б не бесплатное лечение, вы б покукарекали, — крутит головой хирург. — Да еще и пенсию платят.

Из операционной меня привозят в палату. Володя сразу приступает к обязанностям сиделки.

Минут через десять приходит Ариан Павлович. Проверяет пульс.

— Ничего подозрительного я у тебя не нашел. Посмотрим, как теперь будет.

Боровикова выписали. А я лежу, гнию.

На Володино место положили старика. Он весь какой-то рыхлый, с сияющей лысиной, обрамленной на затылке редкими волосиками. Когда он говорит, в горле у него свистит, хрипит, булькает. Старик оказался общительным, через час он уже знал, кто, где и когда родился, чем болеет, какая семья, есть ли родители, живы ли родители родителей…

Вскоре его прооперировали. После операции на щитовидке улучшение наступает уже на третий-четвертый день. А старику

все хуже и хуже. Его мучит удушье, особенно по ночам. Чтобы не мешать спать остальным, он уходит из палаты, и в коридоре тогда долго слышатся его шаркающие шаги и натужные хрипы.

Мне тоже пока радоваться нечему. Опять обед приносят в постель.

Ариану Павловичу очень не хочется вскрывать рану. Но другого выхода у него нет.

Во сне мне часто слышится топот копыт. Он будит в душе невольную тревогу, предчувствие близкой опасности, вызывает неодолимое желание вскочить на коня и скакать, скакать, лететь навстречу опасности!.. Я просыпаюсь с сильно бьющимся сердцем. Сновидение тает, его невозможно удержать в памяти, как невозможно сохранить на ладони снежинку. Долго и очень явственно помнится только тревожный, удаляющийся топот копыт…

Топот копыт! Был у меня в училище еще один друг — конь по кличке Ловчий.

Я — кандидат (это как в институте абитуриент). Командир над нами — высокий толстый старшина-сверхсрочник. Ходил он степенной походкой хозяина, заложив пальцы за пряжку ремня на животе, и подгонял салажат басовитым голосом. Однажды он подошел к группе кандидатов и спросил:

— Хто любит коней?

Все молчали, выжидая и ехидно улыбаясь. Один раз старшина «купил» нас: пришел вот так же и спросил: «Хто любит рыбачить?» Рыбаков нашлось много, в их числе был и я. Думали, рыбу поедем ловить… А старшина дал нам по два ведра, и мы битых три часа таскали воду, а он стоял, покрикивал, чтоб быстрее шевелились…

В этот раз видит старшина — пассивничает народ. Спросил по-другому:

— Я сурьезно: хто имел дело с конями?

— Ну, я имел, — отозвался я.

Старшина ощупал меня взглядом, будто приценялся: крепкий, загорелый паренек, на земле стоит твердо. На мне серый хлопчатобумажный костюм, на коленях и локтях вздулся пузырями, полосатая сатиновая рубаха с расстегнутым воротом. Обут в матерчатые, с кожаными носками, коричневые полуботинки. Рукава у пиджака коротковаты, из них выглядывают мускулистые, знающие тяжелую работу руки с набрякшими венами; кисти не по росту большие, тяжелые.

— Ходим, хлопче, — сказал старшина.

Привел меня в конюшню, кивнул на солового красавца.

Золотистая короткая шерсть на нем отливала шелковистым

блеском, белая грива, длинный белый хвост и белые «чулочки» придавали коню царственный вид. Увидев людей, он зло заплясал в станке, захрапел, косясь звериным глазом.

— Вот за этим чогртом будешь ухаживать. — «Чогрта» старый служака произнес любовно, с восхищением. Я не узнавал сухаря-старшину: на лице умиление, любуется конем, как девушкой.

— Сразу предупреждаю: вин дуже не любит, когда матюкаются. У него до этого хозяином був страшный матерщинник. Бувало, бье его и матюкае. Ты, хлопче, будь с ним поласковее. Конь — вин ласку любит. Токо в станок до его не заходь — убьет. Он подпускает токо свого коновода та нового хозяина. Корм задавай, чистий, одвязуй из соседнего станка. А то как бы не пришлось отвечать за тебя.

Я принес мерку овса, высыпал в кормушку. Конь заметался в станке, лязгая копытами по цимбалинам. Попытался успокоить Ловчего, ласково приговаривая:

— Ну, ну, дурачок, не бойся.

Но конь знакомиться не хотел.

Вечером принес ему хлеба и свою пайку сахару. Ловчий угощения не принял — прижимал уши, скалил большие желтые зубы, норовил укусить.

Я скормил хлеб другому коню, а сахар припрятал до завтра.

На другой день конь сторожко взял сахар, а потом и хлеб, разрешил потрогать за шею.

В обеденную уборку я осторожно вошел в станок. Ловчий прижимал уши, приплясывал, скалил зубы, но терпел присутствие постороннего. А я говорил и говорил ему ласковые слова, держался спокойно, и конь стал успокаиваться, разрешил гладить по шее, только при каждом прикосновении вздрагивал, как от боли. По его сильному, играющему мышцами телу пробегала судорога.

А тут откуда ни возьмись — старшина. Лицо его налилось кровью, он сжал кулаки, выпучил глаза и натужно просипел:

— Сейчас же вылазь из станка!

Я — будто не слышал — продолжал гладить Ловчего.

Старшина перевел дух. Вытер тыльной стороной ладони выступившую на лбу испарину.

— От сатана, а не хлопец! Як же тебе удалось приручить этого чогрта? — В его голосе слышалась большая похвала.

— Ласкою, товарищ старшина, ласкою, — говорил я с ехидцей, поглаживая Ловчего. — Конь — вин ласку любит.

Теперь, приходя на конюшню, я уже издали ласково звал:

— Ловчий, Ловчий…

Конь ждал, повернув голову. Я заходил в станок, Ловчий

тянулся губами к ладоням — искал угощение, брал сахар теплыми, бархатистыми губами.

Прошло еще несколько дней. Ловчий уже встречал меня тихим ржаньем, нетерпеливо бил копытом и, когда я входил в станок, терся мордой о плечо, дышал в ухо горячим воздухом, челкой щекотал щеки, ласково покусывая за руку. Я ворковал с ним, как с малым дитем.

Вернулись из отпуска старшекурсники, и мне пришлось расстаться с Ловчим: за ним теперь ухаживал коновод командира дивизиона старшего курса. Я стал курсантом, мне дали лошадь, но я не забывал Ловчего, ходил к нему в гости и баловал больше, чем своего коня.

Ловчий не подпускал к себе никого, кроме коновода, хозяина и меня. А хитрым Ловчий был конем! Как ни привяжут его — снимет недоуздок и убежит. Ловить идут человек десять — и не могут поймать. Ловчему представляло удовольствие дурачить ловцов: отбежит от них и остановится, будто говорит: «Ну берите меня, чего же вы?» Подпустит совсем близко — и вдруг рванет галопом, отбежит немного — и снова встанет.

Дневальный-старшекурсник приходил ко мне и просил:

— Овчаров, помоги поймать Ловчего.

Я шел, звал коня:

— Ловчий! Ловчий! Иди сюда, дурачок! — И конь, радостно заржав, бежал ко мне, гордо выгнув шею, распустив по ветру длинный белый хвост, картинно выбрасывая тонкие точеные ноги. Подбежав, терся головой о плечо, ощупывал мягкими бархатными губами ладони, бил копытом — просил сахару. Почти всегда у меня находился кусочек. Ловчий брал сахар нежными губами, хрумкал, признательно кивал головой и снова толкал мордой куда-то под мышку — просил еще. Я ласкал доверчивое животное, прижимался щекой к его щеке. Потом клал руку на шею, говорил:

— Ну, дружище, пойдем домой. — И мы шли в обнимку на конюшню. Ловчий заходил в станок и сам подставлял голову, чтобы я надел недоуздок.

…Тревожный сон тает, я не могу вспомнить, что снилось, закрываю глаза и вижу: ко мне весело бежит Ловчий, будто рисуясь, выгибает сильную лоснящуюся шею, белая грива и длинный белый хвост развеваются по ветру, конь красиво выбрасывает тонкие, в чулках, ноги с большими круглыми копытами: то́кток, то́кток, то́кток… Или вижу: Ловчий, всхрапнув, срывается галопом, из-под копыт шрапнелью летит галька — и он, насмешливо повернув голову, боком, играючи, уходит от ловцов: тыгдык, тыгдык, тыгдык, тыгдык…

Как давно это было! Будто и не в этой, а в какой-то другой

жизни!

15

Сажусь к столу написать письмо. Вдруг слышу страшные хрипы, и вслед за этим — топот бегущих людей.

Когда больному бывает плохо, об этом узнают по топоту в коридоре: и сестры, и врачи, независимо от их ученых степеней, бегут к больному. И это не спешка — это оперативность, стремление оказать скорейшую помощь. Здесь нет этакой нарочитой медлительности, показной невозмутимости. Такие моменты напоминают мне заставу, поднятую по сигналу тревоги, где все делается бегом, без малейшей сумятицы или растерянности, где нет ни одного лишнего движения, каждый четко выполняет то, что ему положено.

В открытую дверь вижу, как в сторону перевязочной несут сидящего на стуле моего соседа-старика. Через несколько минут его вносят в палату и кладут на койку.

— Выйдите из палаты, — говорит мне дежурный врач.

— Я лучше лягу.

Пока писал письмо, устал, мне стало хуже. Если станет совсем плохо, со мной некому будет возиться, сейчас все заняты стариком.

А старик хрипит все громче и все реже. Ему делают вливание внутривенно. Не помогает. Врач массирует грудную клетку — у старика останавливается сердце.

— Еще в вену, — командует врач.

Сестра не может попасть иглой в вену.

— Чего возишься! — кричит врач. Выхватывает у нее шприц и вгоняет иглу старику в грудь, в область сердца.

Но старик больше не хрипит. Его лицо из натужно багрового сразу становится восковым.

— Все… — выдыхает врач и медленно распрямляется. — Вот не везет. Второй за неделю, и оба в мое дежурство.

Старика отгораживают от меня ширмой.

Другой сосед в палату не заходит.

Я лежу и думаю. Старика оперировал Ариан Павлович. Завтра будет оперировать меня. И я вот так же буду лежать, накрытый простыней и отгороженный ширмой?.. Три дня назад умерла женщина, тоже «Кушинг», в дежурство этого же врача. Уже ходила. Наверно, радовалась, что дело идет на поправку…

Мне никогда еще не приходилось быть вот так близко с покойником, тет-а-тет… Отгороженный ширмой старик своим присутствием убедительно, неоспоримо убедительно говорит о бренности бытия, о неизбежном конце, разница только в том, что

один приходит к нему раньше, другой — позже; что я, да и все остальные ничем в этом отношении не отличаемся ни от Медынцева, ни от него — старика; что действительность — это совокупность случайностей, в чем-то ты властен воздействовать на события, а в чем-то, извините, нет. И потому ты — борись! Борись до конца! Но то, что от тебя не зависит, принимай таким, какое оно есть. Правде и смерти надо смотреть в глаза, говорил Суворов.

Уже двенадцать часов, а меня не везут в операционную. Наконец, приходит Ариан Павлович.

— Знаешь, давай сегодня не будем оперироваться, — говорит он. — У меня что-то нет настроения. Вчерашний случай. Правда, у него был рак. Знаешь, как плохо работать без настроения. Можно напортить. А с хорошим настроением я и сделаю лучше. Договорились? Потерпи еще денек.

* * *

Когда я, уже в палате, прихожу в сознание, хирург рассказывает:

— Снова сделал тебе ревизию. Прошел до самого надпочечника — где он должен быть. Оказывается, тогда в этом месиве была задета поджелудочная железа. Поэтому рана так сильно гноилась. Поджелудочная уже зарубцевалась, я хорошо вычистил, теперь должно заживать. — Он вздыхает. — Ты в рубашке родился. Задень я поджелудочную чуть больше — и уже ничто бы не спасло. Не зря тогда я так боялся оперировать, ох не зря… Но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается.

16

За окном осень вылила все дожди, зима высыпала все снега, и апрель переплавил снег и лед в звонкие ручьи.

Наступил май. Больным разрешили гулять во дворе института. Кругом зеленая трава. Никогда еще я не воспринимал так остро красоту окружающего мира, не сознавал столь отчетливо, что каждая травинка, каждая букашка — это жизнь! После долгой зимней спячки все радуется теплу, тянется к солнцу, бурно растет, набирается сил — готовится к цветению! Вскоре кусты сирени окутались лиловой пеной, разливающей вокруг нежный аромат. Потом зацвел клевер. В яркой зелени травяного «неба» маленькими солнцами зажглись одуванчики. А еще через несколько дней белые цветы, точно снежные хлопья, облепили кусты жасмина. Дохнет ветерок с той стороны, и окунешься в облако тонкого, дурманящего запаха.

За больничной оградой даже лето не такое, как здесь, во дворе. Во дворе оно какое-то ненастоящее.

Скоро домой… Письма от Дины мне не очень нравятся. Там есть прежние «родной, жду, обнимаю, целую», но мне кажется, что сказаны они как-то не так. Они какие-то ненастоящие, будто по обязанности. А может, я стал придирчивым?

Скоро год, как из дому. Что бы там ни было, а дом есть дом. А если вдалеке, да еще долго не виделись… За дымкой времени и расстояния все смягчается, принимает другую окраску. Может, все еще не так плохо?..

Чем ближе дом, тем настойчивей, ярче мысли о доме, Сережке, Дине. Наконец, они вытесняют все остальное…

Сергею уже шесть лет! Наверно, отвык. А может, и совсем забыл… Да нет, Дина же как-то писала, что он, как придет из садика, по десять раз заглядывает в почтовый ящик, нет ли письма от папы… Как-нибудь тихим вечерком пойдем втроем на Венец, будем смотреть на плывущие по Волге теплоходы, баржи, на тающие в мареве заволжские дали… Дождемся, когда начнут зажигаться огоньки бакенов, фонари в сквере, из парка будет доноситься музыка… А впереди — самая трудная операция. Еще бы хоть раз пройтись по родному городу с дорогими сердцу людьми, насмотреться на их лица, а там — будь что будет!

* * *

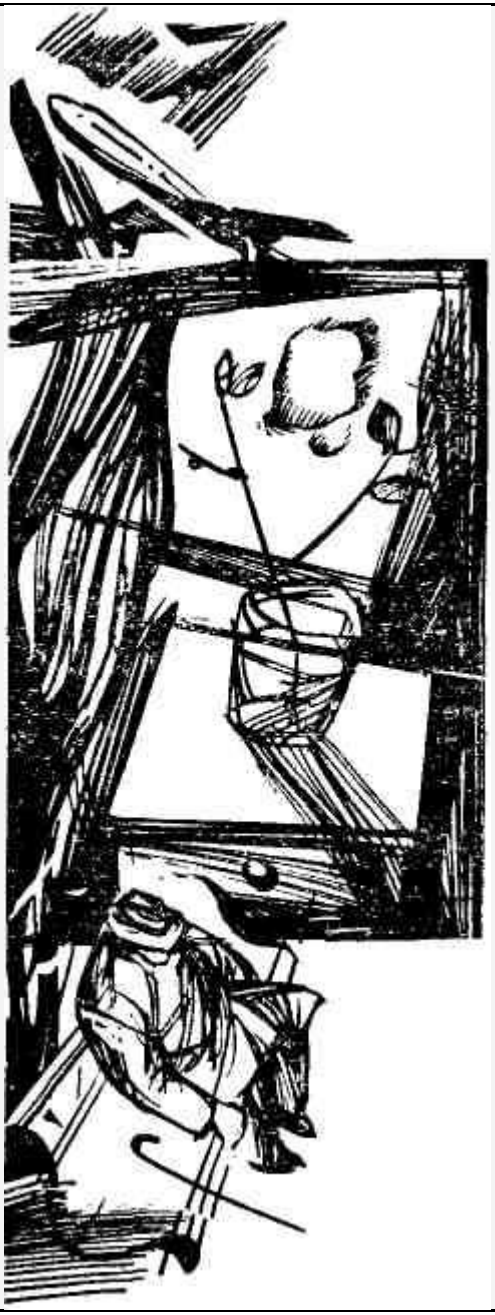
Теплый солнечный день. Настроение приподнятое. Меня

провожает почти весь институт — и больные, и персонал. Даже неловко от такого внимания. Слышу шутки, напутствия, пожелания больше сюда не возвращаться. Отшучиваюсь:

— Я бы и рад, да уж больно Ариану Павловичу полюбился.

Сажусь в «Волгу» с красным крестом на кузове, машина трогается. Оглядываюсь — все машут мне вслед.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



1

Вот я и дома. Ох, как тяжело подниматься на пятый этаж. Пришлось несколько раз подолгу отдыхать, пока взобрался. Своим ключом открываю дверь, вношу узел с зимней одеждой, прохожу в комнату. Как хорошо после восхождения на пятый этаж упасть на пружинящий диван, вытянуть ноги, расслабиться… Диван словно понимает мою радость возвращения и по такому случаю по-особому добр ко мне. Соскучившимся взглядом обвожу комнату. Еще вчера был в Москве, в больничной палате, а сегодня уже дома… Я — дома!

В первые минуты даже как-то не верится в реальность сбывшегося.

Но исподволь, все настойчивей дает о себе знать тишина, которая, мне кажется, чувствует себя в квартире хозяйкой, а меня — пришельцем. Эта тишина как бы говорит: нет, ты еще не совсем вернулся домой, ведь ты еще не видел ни Дины, ни Сережки.

А мне так не терпится увидеть его! Ведь он здесь, совсем уже рядом!

Не медля больше ни минуты, встаю с гостеприимного дивана и иду в садик. В душе солнечным зайчиком подрагивает предвкушение встречи…

На площадке, обсаженной кленами и сиренью, раздаются визг, плаксивые голоса, смех детей. Они догоняют друг друга, толпятся у доски-качели, облепили деревянную машину. Меня сразу окружает стайка любопытных:

— За кем вы пришли?

— Вы чей папа?

— А зачем у вас палочка?

— Кого вам позвать?

Я прошу позвать Сережу. Гонцы мчатся в разные стороны с восклицаниями:

— Овчаров Сережа, за тобой пришли!

Из теремка, разрисованного петухами, вылезает Сергей… Как вырос! И загорел. Круглая, смышленая мордашка, коротко подстриженная светлая челка. Смотрит на меня удивленно. Он в зеленой клетчатой рубашке, в коротких черных штанишках на лямках. Колени вымазаны землей.

— Кто это? — спрашивает воспитательница, показывая на меня.

— Папа, — он радостно улыбается и подбегает ко мне.

Не забыл…

— Здравствуй, Сережа.

Сергей хлопает ладошкой по моей ладони:

— Здравствуй. А чё ты такой толстый?

— Да вот… толстый…

— Вот и дождался своего папу, — говорит воспитательница.

Снова взбираемся на пятый этаж. Сережа не отходит от меня ни на шаг.

С нетерпением жду Дину. Даже немного волнуюсь. После работы она зайдет в садик за Сергеем и узнает, что я приехал. (Конечно, интересней было бы появиться неожиданно!)

Наконец, в замочной скважине звякает ключ. Отворив дверь и увидев меня, Дина издает приветственно-удивленное «Хо!» и бросается мне на грудь.

Но я вдруг чувствую, как меня неприятно кольнуло. Точно льдинка упала средь солнечных зайчиков, трепыхавших в груди все это время. Дина сделала это чуть порывистей, усердней. Так обычно встречают гостей, когда хотят показать, как им рады.

Весь вечер меня не покидает ощущение, что я для Дины — гость, которого стараются убедить, как рады его приезду.

2

У меня начинает побаливать позвоночник. Иду к врачу.

Она сидит за столом, смотрит внимательно, чуть покровительственно; движения уверенные, даже решительные; в голосе — подкупающе авторитетные нотки: она сразу располагает к себе пациента.

— Вот видите, — говорит она, — вы потеряли надпочечник, а что это дало? Вы сейчас хуже выглядите, чем до операции. — Качает грустно головой. — А что теперь обещают?

— Удалить и правый надпочечник.

— Ка-ак? И вы соглашаетесь?

— Конечно.

— А вы знаете, что человек без надпочечников жить не может? — говорит она с внушительным намеком.

Я вовремя сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. Вот он, «незыблемый» канон в действии!

— Живут без надпочечников. Может, и у меня получится.

— Отчаянный вы человек.

— Уж какой есть.

Я знаю, врач желает мне только хорошего, хочет дать добрый совет. Но…

Из поликлиники захожу в садик, и мы с Сергеем отправляемся гулять. На тротуарах много людей: идут с работы. Жара начинает спадать. На выцветшем небе — легкие перистые облака. Иногда налетает ветерок, взвихривая пыль и заставляя трепетать листву деревьев. Подходим к дородной, раскрасневшейся на солнце лотошнице, покупаем любимый Сережкин пломбир в вафельном стаканчике. Сережку забавляет, что мороженое можно съесть вместе с посудой.

— Папа, вон мама с работы идет! — говорит вдруг Сергей и тянет за руку, чтобы прибавил шагу.

Но Дина неожиданно переходит на другую сторону улицы и скрывается в магазине.

Это уже второй раз… Она избегает встречи на улице. Первый раз я старался убедить себя в том, что она в самом деле не заметила нас, что ей необходимо было зайти в полуфабрикаты. Но сейчас она видела нас с Сергеем. Не хочет, чтобы ее видели рядом с мужем.

Все чаще приходит Дина с работы чем-то недовольная, на нее находят приступы беспричинного раздражения. Давно уже я не вижу, чтобы она накручивала на палец локон и напевала, хлопоча по дому. Я понимаю, это я — причина ее плохого настроения…

Любимое место наших с Сергеем прогулок — Венец. Оттуда, с высокого обрыва, суда кажутся игрушечными, и когда Сережа впервые увидел теплоход у причала, то удивился, какой он большущий. Смотреть на водную ширь, сливающуюся на севере и юге с горизонтом, на размытые далью заволжские просторы я могу часами. На душе тогда становится тоже просторно и легко. Сергей расспрашивает, куда течет Волга, почему этот берег высокий, а на той стороне низкий, куда плывут пароходы, почему одни дымят, а другие не дымят…

Опускаются сумерки, с Волги тянет прохладой. Зажигаются мерцающие огни бакенов. Огоньки кажутся звездами, упавшими в воду. На судах и баржах тоже зажигаются огни — желтые, красные, зеленые. Пассажирские теплоходы проплывают, прошитые огненной строчкой светящихся иллюминаторов, палубы освещены, оттуда доносится веселая музыка.

Сумерки сгущаются. В скверике зажигаются фонари. Сергей играет с ребятами в прятки. А я все сижу на скамейке, глядя на Волгу, на нарядную публику. Влажный речной воздух доносит тонкий запах ночной фиалки или духов, когда мимо проходят девушки. Слышатся гудки пароходов, где-то — девичий смех. Над ухом тонко зудит комар.

А совсем недавно я мог только мечтать обо всем этом. Да и сейчас меня не покидает ощущение, что я — отпускник, что недолго мне наслаждаться этой благодатью.

И молодежь, и дряхлые старички прогуливаются по аллеям парами. Я завидую им, иногда не в силах подавить щемящую боль в сердце. Из того, о чем мечталось, сбылось далеко не все. А ведь я ни о чем сверхъестественном не мечтал. Только бы разок-другой пройтись по скверику с теми, кого считал самыми родными, посидеть втроем на скамейке, глядя на далекие огни бакенов.

Но даже в этой малости мне отказано. А каким бы счастливым сделала меня такая малость! Сколько бы сил прибавила в жестокой, изнуряющей борьбе!

С каждым днем чувствую себя все хуже, я почти не двигаюсь, часами сижу, не шелохнувшись, на диване. У меня не на шутку болит позвоночник. Иногда при неосторожном движении едва сдерживаю крик. На улицу уже не выхожу — очень трудно подниматься по лестнице. Ложиться и вставать — мученье, все тело пронизывает боль, от которой темнеет в глазах и забивает дыхание. По комнате хожу, опираясь о стенку.

Кое-как добираюсь до врача. Она направляет на рентген. Оказывается, в костях произошли изменения, скелет потерял необходимую прочность, в результате — компрессионный перелом позвоночника. Прямо как в сказке: чем дальше, тем

страшней.

Если приступ не удерживает меня в постели, бужу Сергея, нежиться не даю, приучил сразу вставать. Он сам заправляет кроватку и становится посреди комнаты. Делает разминку. Потом идут упражнения посложней: мостик, шпагат.

Иногда мне бывает так плохо, что едва не теряю сознание. Тогда Сергей стоит и ждет. Когда меня отпускает, едва слышно говорю:

— Продолжим… раз… два… три… Следи за носочками.

Он так старательно работает, что щеки трясутся.

Если у меня приступ и я не могу встать, Сергей делает зарядку сам.

Он становится собраннее, его движения — экономичнее.

Сын — единственная опора в моей жизни. И единственное ее оправдание.

3

Уже давно Сергей уговаривает папу с мамой пойти в цирк. В обычный день Дина поздно приходит с работы, а в воскресенье всегда находятся неотложные дела. Пообещал сыну, что пойдем пятого декабря — мама три дня не работает, времени хватит и на цирк, и на домашние хлопоты.

Дня за четыре до праздника, вечером, когда к нам на телевизор пришли Сережкина подружка Тома и ее мама, предлагаю гурьбой пойти в цирк. Тома и ее мама охотно соглашаются. Сергей от радости топает ногами, бросается к Томе бороться, и длинные пружины гудят от их возни.

— Тома, тебе поручаю купить билеты, — говорю я.

Тома уже взрослый человек, ходит в первый класс.

— На меня билеты не берите, я пятого работаю, — говорит Дина.

Я знал, что Дина не пойдет со мной, и пригласил соседей, чтобы для нее было общество, в котором она бы чувствовала себя на людях свободнее, — ведь посторонним неизвестно, кому она кем доводится.

Дети сразу притихли. Сергей с испугом переводит взгляд с матери на меня, с меня на мать, не может понять, в чем дело.

— Тогда и я не пойду, — говорит Томина мама.

Сережа смотрит на нее с отчаянием и переводит взгляд на меня: как же теперь? Ты же обещал!

— Тома, возьми тогда три билета, — говорю я, делая вид, что ничего особенного не случилось, только голос сел, стал сиплым. Сережа повеселел, но восторга уже не выказывает.

— Как же ты думаешь ехать в цирк, ты же еле ходишь? — чтобы как-то оправдать свой отказ, говорит Дина. Но прозвучало это не как забота, а как «сидел бы уж, не рыпался».

— Туда доеду, хватит сил. А обратно — как придется, — отвечаю сухо, давая понять, что отговаривать меня бесполезно Смотрю Дине в глаза и продолжаю старательно, внятно: — Я хочу еще раз сводить его в цирк.

Однажды Нина-Люкс спросила, умею ли я хоть сердитым быть. А если бы она увидела меня теперь, то впору было бы спросить, умею ли я быть веселым, умею ли хоть улыбаться. Я бываю самим собой, лишь когда остаюсь один или бываю с Сергеем, а с приходом всегда раздраженной Дины все в доме словно покрывается изморозью: слова выдавливаются редко и неохотно, точно каждый боится тратить лишнее тепло, губы деревенеют. Даже свободных движений делать избегаем, чтобы

холод в душу не пробрался, все ходят нахохлившись. Тепло для сердца дают воспоминания. Не будь у меня воспоминаний и сына, где бы силы брал я, чтобы бороться?.. Опять мне снится по ночам застава, пограничное училище, Ваня Истомин… Часто снится один и тот же сон. Застава поднята по тревоге, пограничники на галопе уносятся в темень, а я после перенесенных операций никак не могу сесть на коня. Подходит Ваня, кладет руку мне на плечо: «Макар, будь здесь, все равно на заставе кто-то должен оставаться». И я вынужден остаться.

4

Сережа пригласил меня с Диной на елку. Дина пойти не может: ей на работу. А я решил как-нибудь добраться. Кто знает, может, никогда больше не придется увидеть Сережку на елке.

В зале уже много родителей. Их рассаживают на детских стульчиках. Вижу на стенах свои рисунки: Волк с палкой, Медведь в шубе, Заяц в рубашке горошком и штанишках — герои из «Колобка». Это Сергей похвастался, что папа умеет рисовать, вот и пришлось поработать.

Дети в белых костюмчиках, колпаках и жабо. Появляются Дед Мороз и Снегурочка, их встречают восторженным визгом. Ребятишки рассказывают у елки стишки. И вот воспитательница объявляет:

— В заключение Сережа Овчаров прочитает стихотворение, которое написал для него папа.

К елке выходит Сергей. Он весело оглядывает всех родителей, находит глазами меня. Я подмигиваю: не робей! Он звонко объявляет:

— «Елка на заставе!»

Он читает стихотворение о том, как старшина принес две елки: одну для солдат, а другую для него — мальчика, живущего на заставе. С папой и мамой они наряжали эту елку. Потом весь вечер мальчик с нетерпением выглядывал в окно: не идет ли Новый год? — о котором папа рассказывал ему столько необыкновенного:

Я знаю от папы,
Что к нам Новый год
Сегодня с востока,
С Чукотки придет.
Он гость в каждом доме
И в каждой стране,
Он точен, как эти
Часы на стене.
Он гость даже здесь,
На заставе у нас,
Хотя и нарушил
Границу сейчас.
Пограничный наряд
Не сказал ему: «Стой!»
А руку к ушанке:
«Прошу, дорогой!»

Сергей лихо козыряет и широким гостеприимным жестом приглашает воображаемый Новый год проходить.

Спеши, торопись
И не мешкай в пути! —

кричит Сережа, как в лесу, вслед «удаляющемуся» Новому году, —

Ведь должен ты за ночь
Всех-всех обойти!

Не зря мы трудились две недели, разучивая стихотворение!

А ребятишки уже водят вокруг елки хоровод. Сережа выгодно выделяется среди них, он, как молодой конек, высоко поднимает колени, носочки оттягивает. Слышу голоса:

— Смотрите, вон тот мальчик…

— Какой молодец.

— А фигура как у спортсмена.

Воспитательница шепчет мне:

— Хороший у вас сын. Каждый день показывает ребятишкам новые упражнения. Делает мостик, стойку, ходит на руках, говорит, это папа его научил. Буду, говорит, сильным и закаленным, я, говорит, каждое утро делаю зарядку и обтираюсь мокрым полотенцем.

Утренник закончился. У всех ребят раскрасневшиеся лица, глазенки радостно блестят, колпаки посъезжали у кого на ухо, у кого на затылок, жабо помяты.

Домой идем не спеша. Небо затянуто тучами, но на улице очень светло, потому что все кругом покрыто свежим снегом. Он мягко хрустит под ногами. Сережа, все еще возбужденный, прижимает к груди кулек — подарок Снегурочки.

Поднимаемся по лестнице. Я часто останавливаюсь. Осталось две ступеньки. Но у меня больше нет сил. Сергей стоит рядом и молча смотрит на меня. А меня словно насквозь пронизывает стальная спица, из глаз помимо воли выжимается слеза… Плохо помню, как все же взобрался на лестничную площадку и навалился грудью на перила. Еще на одну ступеньку выше я бы не смог подняться.

5

Вечером прошу Дину вызвать «скорую помощь».

По звукам определяю, что происходит вокруг. Будто вижу, как Дина красит ресницы… пудрится… красит губы… Она и раньше не выходила из дому, пока не уложит каждый волосок прически, а в последнее время внешности уделяет еще больше внимания.

Застучали составляемые на место баночки, флакончики, футлярчики. Идет в коридор, надевает шапку… сокрушенно вздыхает: как ни наденет — все не так. Наконец неторопливым шагом направляется к двери. Щелкает замок, дверь отворяется, хлопает.

Проходит много времени, а Дина не возвращается. Может, никак не дозвонится?.. Мне уже невмоготу. Может, холодный компресс поможет? Встаю, отворяю дверь в коридор… а на тумбочке трюмо сидит Дина, в пальто, дремлет…

Она начинает оправдываться:

— Присела и задремала. Устала очень, — Дина уже привыкла лгать. Да и не видно было, чтобы она очень смутилась. Весь ее вид говорит: «Не пошла — и все. И ты ничего со мной не сделаешь».

«Зачем тогда нужна была эта комедия с хлопаньем дверью? Сказала бы: «Не пойду — и все», — подумал я, но не проронил ни слова, только посмотрел в глаза.

А я-то, глупец, готов был размозжить свой лоб о лоб электрички, если не прооперируют, чтобы развязать ей руки… Нет, не стоишь ты этого. Как приехал домой, от нее не то что теплого слова — просто человеческого взгляда не видел. А что будет, если слягу, что и встать не смогу?

Почему раньше так верил в нее? Оглядываюсь в прошлое и не вижу ничего такого в ее поступках, что могло бы служить основанием для подобной веры. Хотя, собственно, не было и ничего такого, что давало бы повод не верить. И лишь моя болезнь оказалась для нее той пробой, когда становится просто невозможно не проявить самую сущность свою. Недаром говорится, друзья познаются в беде!

И вдруг я понял! Я так верил в Дину потому, что очень хотел верить в нее. Я не мог не верить в друга. Все мы в какой-то мере судим о людях по себе.

Разве такой уж большой грех — поверить в друга? Выходит, большой, раз расплата такая жестокая. И чем больше верим, тем тяжелее похмелье. Но себе я не изменю. Пусть не раз еще

ошибусь, но верил в друзей и буду верить.

Думал, Дина похожа на Аленушку. А оказалось, она ближе к Наде. Так та хоть честно призналась себе и другим, что она слабая женщина.

Видишь, Аленушка, какой «эдельвейс» я себе откопал. Черный, воронова крыла.

Вспомнил Аленушку — и сразу потеплело, посветлело на душе. Она всплывает в воображении то девчонкой, хохотушкой — старшей сестренкой Иришки; то матерью, мудрой женщиной, с которой жизнь обошлась очень неласково. Я не знаю, любил ли ее тогда и люблю ли сейчас. Знаю только, что без этих воспоминаний мне было бы худо. А стоит только подумать о ней — и приходит что-то нежное, чистое. Окружающее пространство наполняется новым содержанием, все видится в другом свете. Порою даже не уверен, все ли так было, как сейчас представляю себе, такою ли именно была она. То, о чем вспоминается, так дорого, что я готов усомниться, в самом ли деле существовала Аленушка, сидел ли я когда-нибудь рядом с нею, говорил ли, слышал ее голос?..

Чувствую, что произошел какой-то качественный сдвиг в моем отношении к Аленушке. Раньше при мысли о ней меня осеняло что-то радужное, легкое, мне хотелось благодарить ее. А сейчас к этому примешивается чувство утраты, сожаления, душу теснит от сознания, что былому никогда уже не повториться. Воспоминания доставляют и радость и боль. Прежде больше вспоминал веселые моменты в наших отношениях; сейчас — много размышляю о самой Аленушке, о том, какая была у нее жизнь. Сам познавший беду, я понял многое из того, что раньше проходило мимо моего внимания. Аленушка стала для меня ближе, понятней. Сейчас я не сомневаюсь, что это о муже было однажды сказано: «Я насмотрелась на эгоистов, на маменькиных деток, которые знают только себя…» И еще однажды сказала: «Ненавижу это слово «обещаю»! Из таких потом и вырастают… Сегодня ползает на коленях, обещает, клянется, а завтра — за старое…» А что — «старое»? Что вложила она тогда в это слово?

И когда говорила, что боится за дочь, боится, чтобы она не выросла черствой, эгоистичной, чтобы люди, которые будут рядом с нею, никогда не страдали от нее, — когда Аленка говорила это, тоже подразумевала мужа. Что-то очень плохое видела она от него.

А вернулась к нему… Наверно, ей плохо с ним. Как вот мне сейчас… То Аленкино письмо я помню почти дословно.

Я приехал к родителям и все ждал от Аленки вестей. Письмо пришло на четырнадцатый день.

«…Макар, гости у родителей до конца отпуска…» — прочитав эту строчку, я уже знал: что-то большое, светлое уходит от меня и не в моей власти помешать этому.

«В день твоего отъезда пришло письмо от мужа. О наших отношениях я ничего тебе не рассказывала. Это неинтересно. Он прислал много извинений, божился, что не может жить без меня, без ребенка, просил разрешения приехать, повидать Иришку.

Я не могла, не имела права запретить ему видеть ребенка. Он приехал. Говорил, что я должна подумать о будущем дочери и пр. Мужа я не люблю. Точнее, разлюбила. Но у ребенка должен быть отец. Дочь не забыла его. Без меня он совсем пропадет. Я росла без отца, не хочу, чтоб и моя дочь тоже… Когда провожала тебя, уже решила, что вернусь к нему.

А кроме того, я не забываю, что мне уже 22, а тебе — только 19. Ты сможешь потом найти себе девушку намного моложе меня.

Я люблю тебя. Почему-то уверена, что и ты будешь помнить меся всегда. И хорошо вспоминать. Для меня это будет утешением.

Не знаю, какою мерой можно измерить мою благодарность тебе. За все. Ты ни словом, ни жестом, ни взглядом ни разу не сделал мне больно. Ты уважал меня. Возможно, именно это для меня — самое в тебе дорогое. Ах, как благодарна я тебе за то, что не домогался меня! Ты, наверно, не представляешь, что такое жизнь незамужней женщины. Вечные приставания, липкие взгляды, бесконечные приглашения встретиться, вместе поужинать и т. д. Я презирала мужчин! И вот появился ты. Теперь я знаю, что среди вас есть настоящие. А это очень важно — знать, что есть».

«Я знаю Макара так, как, наверно, никто никогда не узнает его». — Это она подчеркнула.

«Я поняла тебя не только потому, что жизнь научила меня разбираться в людях. Ты был весь как на ладошке, у тебя душа нараспашку. Я ценю это в людях. Но тебе ох как трудно в жизни придется!.. И все равно я б не хотела когда-нибудь встретить тебя изменившимся…

В тот вечер, когда вы с Иришкой ходили меня встречать, шел снег, но для меня светило солнце! В тот вечер я снова стала сама собой. И потом я почти всегда была самой собой.

Не могу простить себе того, что сама отложила поход в горы, к эдельвейсам. Всем сердцем желаю тебе встретить ту, которая не раздумывая пойдет за тобой на любую гору, в огонь и в воду. Хочу верить, что ты найдешь свой эдельвейс. Вспомни тогда обо мне. Мое сердце услышит…»

А ведь та, что пошла бы за мной в огонь и в воду, — это ты, Аленушка, я в этом убеждаюсь все больше и больше. Один бы единственный разочек увидеть тебя!..

Мне вдруг подумалось: а не ошибаюсь ли я в Аленушке, как ошибался в Дине? Не принимаю ли желаемое за действительное? С Диной прожил годы и не смог узнать, что она за человек. А к Аленушке всего несколько раз приходил в увольнение. Разве так человека узнаешь?

И все-таки я знаю Аленушку! Если бы спросили, почему так уверен в ней, не смог бы объяснить. Просто чувствую, как чувствуют дети, добрый человек или злой. А спроси у ребенка, чем тот хорош, — он не сможет ответить…

А Сергея на следующий день Тома повела на елку во Дворец культуры, где она обучалась игре на фортепьяно. Вернулись оба довольные.

— Ой, как хорошо Сережка стишок рассказывал! Ему хлопали больше всех! А Дед Мороз долго рылся в игрушках и все говорил: «Не могу подобрать достойный приз». А потом дал аж две игрушки. Сережа! — кричит она. — Покажи, какие игрушки дал тебе Дед Мороз!

6

И Дина повела Сергея на елку. Когда они пришли домой, я стал расспрашивать, что он там видел, какое рассказывал стихотворение.

— «Баню», — говорит Сережа.

— А «Елку на заставе»?

— Мама не разрешила…

Я вижу, что Дину раздражает все, что напоминает обо мне. Она не уходит от меня лишь потому, что уверена: недолго осталось гореть моей свече.

А если все же похудею?.. Мне уже трудно даже представить такое. Кажется, что болеть я буду целую вечность. Но представим, что я похудел. Как же тогда жить нам вместе? Это невозможно. Но тогда потеряю Сережку! Если уж сейчас она готова оградить его от всякого моего влияния, то тогда и подавно. Это становится модным: в случае развода не допускать отца к ребенку. А как же я без Сережки? Зачем вообще мне тогда худеть? Для кого?! Не представляю, как мог бы жить с Диной… Не представляю, как жить без Сережки… Нет, лучше не заглядывать в будущее! Оно против меня.

Родителям не пишу, в каком я положении. Если б они знали всю правду — давно бы забрали меня отсюда. Но зачем мне это? Чтобы потом мать всю жизнь видела меня перед собой — умирающего?

При одной мысли о родителях в памяти грозным предупреждением всплывает картина. Еще здесь, в ульяновской больнице, был один парнишка лет семнадцати. За ним ухаживала мать. И вот однажды его вместе с койкой повезли в восьмую палату. Туда клали обреченных. Парнишка уже давно лежит здесь и знает, что это за палата. Его везут туда, а он машет высохшей желтой рукой и слабым голосом протестует:

— Мама, я не хочу туда… Я не хочу…

А мать идет следом и молча заливается слезами.

Нет, пусть лучше никто не знает, каково мне сейчас.

И все же… Все же я хотел бы, чтобы кто-то… чтобы ты, Аленушка, знала все — каждое движение души моей… Тебе я поведал бы все-все. И — выплакаться б в твои колени. Твое сердце поняло бы. Я не прошу у жизни много: только раз — один-единственный! — почувствовать рядом родную душу, разом излить ей все: как хочется жить и любить, увидеть добрую улыбку, услышать хоть одно ласковое слово!! И как смехотворно дешева стала моя жизнь, висит над пропастью на том самом

волоске, на котором был подвешен Дамоклов меч — и я готов в любую минуту собственной рукой чиркнуть по этой волосинке острой бритвой… без сожаления… Я могу сорваться и разбиться. Но отступить… не будет этого, милая Аленушка, обещаю тебе.

«Дорогой Ариан Павлович!

О своем состоянии скажу коротко: SOS! Вы знаете, я зря жаловаться не стану. Обстановку оцениваю объективно: положение становится почти безвыходным. Я живу, пока хожу. Перестану ходить — перестану жить. Только, пожалуйста, не подумайте, что пишу я это в порыве отчаяния или душевной слабости. Нет! Просто трезво смотрю на вещи. Вот поэтому и прошу вызвать меня в Москву как можно скорее. В Москву полечу самолетом, потому что поездом ехать уже не смогу».

* * *

Вызов из Москвы пришел немедленно.

В аэропорт меня увозят на «скорой». Жена едет со мной.

Я уже не удивляюсь, что Дина с завидной любознательностью знакомится с залом ожидания, а ко мне не подходит.

Пришло время посадки. Но погода испортилась, рейс на Москву отменяют. На автобусе мне ехать нельзя. Говорю жене, чтобы отправлялась домой, а сам остаюсь. Ночь провожу в кресле. На следующий день погода установилась, вылет объявлен на одиннадцать.

Пассажиры помогают мне подняться в самолет.

Дина не пришла. Хотя знала, что в случае хорошей погоды самолет отправляется утром.

В который уж раз уезжаю я в Москву. Режет меня Арианчик, режет, а мне все хуже и хуже. И все равно я уверен, что если кто и сможет меня спасти, то только Ариан Павлович.

7

Стоило переступить порог хирургического отделения, как на душе стало покойно, словно после долгих скитаний вернулся в родной дом.

Дежурит Зина. Она очень занята, делает на сон грядущий уколы.

— Макар Иванович, иди в холл, там для тебя приготовлена постель.

Иду в холл. Диван застелен простыней, в головах две подушки. Вскоре Зина приносит ужин.

— Наверно, проголодался? Это раздатчица оставила. Говорит, может, нигде не придется ему поужинать, еще голодным спать ляжет.

«Заботились бы дома хоть вполовину…»

Меня готовят к операции. В эти дни получаю от матери письмо.

> «Здравствуй дорогой сыночек! С сердечным приветом к тебе папа и мама. Я сегодня вернулась из Ульяновска и сразу пишу тебе письмо. Приедь я к вам днем раньше — еще бы застала тебя. А я как чувствовала. У меня так неспокойно на душе было так сердце болело я не выдержала дай думаю поеду. Приехала пришла к вам а соседи говорят он вчера в Москву улетел. Да и ты бы мог написать что едешь в Москву. И в кого ты такой упрямый. Ну почему я не приехала раньше проводила бы тебя. Дина была на работе. Я дождалась ее у соседей. Потом пришли Дина с Сережей. Она рассказала что из-за нелетной погоды самолет отменили и ты ночевал на аэродроме, как она утром поехала туда и посадила тебя в самолет. Я опоздала всего на несколько часов. Ну почему я не приехала на день раньше. Так терзаю себя за это. Как чувствовала! Я привезла вам трехлитровую банку вишневого варенья любимого Сережиного. Он за один раз съел целую вазочку. Дина приняла меня очень хорошо никогда еще так не принимала. И Сережа очень обрадовался моему приезду. Рассказывал как вы летом приезжали к нам и ходили на рыбалку как он поймал большого окуня. Дина все о тебе да о тебе. Она очень за тебя переживает. Хорошо что съездила. Все же легче на

душе стало. Хоть тому порадовалась что дома у тебя все хорошо. Все родные часто спрашивают про тебя как твое здоровье. Все они передают тебе чистосердечный привет. Крепись родной мой сыночек. Выздоравливай поскорей и приезжайте всей семьей в гости. Пиши чаще письма. Дай бог тебе скорейшего выздоровления. До свидания. Твои папа и мама».

Не упрямый я, мама. Мне тоже хотелось повидаться с вами, со всеми близкими… может, в последний раз… Простите меня, мать и отец. Я знаю, как горько и обидно будет вам, что не попрощались даже. Но я не мог пригласить вас. Не хотел, чтобы вы знали, какими были мои последние дни дома. Вам будет горько. А если бы знали всю правду — было бы во сто крат горше. А теперь вы знаете, что хоть дома у меня все было хорошо… Простите меня.

А Дина уверена, что я никому ничего не скажу… Значит, она знает меня. А я ее не знал…

Для меня операция стала уже столь привычным делом, что иду в операционную как на работу, правда, работу трудную, сопряженную со смертельным риском, но необходимую.

Операция длилась четыре часа.

Просыпаюсь от того, что руку сдавила манжетка тонометра. Слышу голос Ариана Павловича:

— Опять шестьдесят на сорок пять, — и с ожесточением добавляет: — Никак, ну никак не могу поднять давление.

«Никуда ты, Арианчик, не денешься», — думаю про себя и снова куда-то проваливаюсь.

В следующий раз Ариан Павлович ничего не говорит, только тяжело вздыхает. Значит, пока без изменений. Но меня это почему-то нисколько не волнует, будто мое давление — сугубо личный интерес Ариана Павловича.

И только под утро, очнувшись, слышу облегченный вздох хирурга:

— Ну, кажется, поехали: шестьдесят пять на пятьдесят.

А я мысленно говорю ему: «Вот видишь. А ты боялся».

Когда у меня становится достаточно сил, чтобы оглядеться, вижу на тумбочке в банке с водой две веточки тополя. «Кто бы это?..»

Загадка раскрылась, когда в палату вошла санитарка тетя Клава:

— Шла сегодня на работу, — говорит она, — и сломила пару веточек. Дай, думаю, поставлю на тумбочку Макару Ивановичу,

может, распустит листочки — все ему веселее будет.

— Спасибо, Клавдия Ивановна.

8

Перестал принимать искусственные гормоны. Самовольно. Чтобы посмотреть, что из этого получится. Так прошла неделя.

Хирург на минуту забегает в палату.

— Ариан Павлович, у меня к вам дело.

— Ну, какое еще дело?

Ему сейчас некогда, он куда-то спешит. Но когда он не спешит? Даже, бывает, сделает операцию, а зашивать поручает ассистентам — уже опаздывает на ученый совет.

— Неделю не принимаю таблеток — и прибавил в весе.

Если бы я вдруг закукарекал, хирург не так бы поразился. Теперь он уже никуда не спешит. Он садится на кровать, наклоняет голову и трет пальцами крутой шишкастый лоб.

— Загадка природы… Целую неделю, говоришь, не принимал преднизолон?

— Целую неделю.

— И прибавил в весе? — переспрашивает, словно не верит ушам.

— И прибавил.

Он смотрит сквозь меня и напряженно думает. А думать есть над чем. Даже я знаю, что по всем канонам медицины я уже должен сыграть в ящик, а мне — хоть бы что!

— Ариан Павлович, я решил провести этот эксперимент, пока рядом врачи. В случае чего вы бы спасли. А я бы смотрел, что вы со мной делаете — учился бы, как поступать, если будет недостаточность. А может, и врач не будет знать, что делать. — И я рассказал про своего участкового врача, которая отговаривала меня от удаления второго надпочечника.

— Это ты правильно сделал, что перестал принимать… и правильно понимаешь, что тебе самому нужно знать свою, болезнь, чтобы мог, если понадобится, и врачу подсказать. По самочувствию будешь назначать себе дозу. Но непонятно, почему ты можешь обходиться без преднизолона! Так не может быть… Так не должно быть!.. Где-то оставил кусочек надпочечника? Так я хорошо помню, что все вырезал. Неужели в организме где-то есть ткани, частично выполняющие функцию надпочечников?.. И где ты такой уродился?

— А что мне теперь делать: принимать таблетки или нет?

Ариан Павлович морщит лоб, на минуту задумывается.

— Попробуй не принимать, посмотрим, что дальше будет.

— А сколько времени не принимать?

— Сколько вытерпишь!

— Бог терпел и нам велел. — У меня вырывается невольный вздох. Я так ждал, что у меня будет недостаточность! Это был бы верный признак, что похудею. Ариан Павлович замечает мой вздох, хлопает по плечу:

— Терпи, казак, атаманом будешь.

— А может, терпи, душа, в рай попадешь? — делаю намек.

— Это будет свинство с твоей стороны.

Веточка тополя на тумбочке распустила листочки, по три-четыре на месте каждой почки, и дала большие корни.

— А я тогда загадала, — говорит тетя Клава. — Если пустит листочки — значит, выживете, Макар Иванович. А на ней, смотрите, какие листья!

На улице уже апрель. Иду в холл почитать. Солнце через стекло начинает припекать.

Отрываюсь от книги, смотрю в окно. Снег почти весь растаял, только кое-где в тени еще лежит — заледенелый, покрытый грязью. Дворники скалывают его. А рядом, наперекор ночным морозам, уже зеленеют стрелочки травинок.

Думать о том, что будет, когда приеду домой, не хочется. От Дины — ни одного письма. Я тоже не пишу; не написал даже, что сделали операцию и иду на поправку. Вряд ли ее это обрадует.

Ко мне подходит солидная женщина, на голове — копна черных волос.

— Вы Макар Иванович? — спрашивает она.

— Я, — отвечаю удивленно: она почему-то очень покраснела.

— Вы извинице меня, — еще больше смущаясь, говорит она с заметным белорусским акцентом, — можно вас кой-чё спрасиць. Мне посоветовала Алла Израилевна.

Я и так догадываюсь, что это ее рук дело: анестезиолог уже не первый раз присылает ко мне больных для душеспасительных бесед.

Женщина садится в кресле напротив, натягивает полы халата, стараясь закрыть колени.

— Ня знаю, як вам сказаць, — продолжает она. — Мяне Ариан Павлович предлагает аперацию, а я ня знаю, соглашаться мне чи не. В палате гавóряць хто што. А одна меня сильно напужала. Я даже плакала. Ана таки страхи рассказуе. И таго врачи зарезали, и таго… Гавóряць, вам уже несколько раз делали аперацию. Вот што вы мне присаветуеце: соглашаться чи не?

— Знаете, я стараюсь никому не давать советов. И сам ничьих не слушаюсь. Бывает и так: мне посоветуют, а я сделаю наоборот — и хорошо получится! Да на всех и не угодишь. Один так посоветует, другой совсем наоборот. Так что если когда и

ошибусь, так сам виноват.

— Та яно так, — соглашается она.

— Потому советовать ничего не буду. Но если хотите, расскажу и о тех, кого вылечили и кто погиб. Так ведь на войне без убитых не бывает.

— Та яно так, — снова соглашается она со вздохом.

— А вы потом сами думайте и решайте, как вам поступить. — И я рассказываю о себе, о Медынцеве, о Боровикове. Лицо женщины то хмурится, то улыбается, то становится счастливым, будто не Боровиков, а она сама собирается поступать в институт.

— Вот так здесь лечат.

— Спасибо вам большое, — простодушно улыбаясь, говорит она. — Вот пагаварила с вами, и ат души атлягло. А то уже собиралася цикаць атсюдова.

— Если уж давать совет, то — верьте врачам. И еще: никогда не слушайтесь больных, а то они вам насоветуют!

— А когда после аперации можно работаць? — задает она традиционный вопрос. Я рассказываю, что знаю.

Воистину, у кого что болит, тот про то и говорит. У мужчин обычно первый вопрос таков:

— А водку можно будет пить, если вырежут эти самые надпочечники?

Второй обязательный вопрос:

— А как потом насчет женского пола?

Можно ли вернуться к труду, и если можно, то когда — это третий традиционный вопрос. Есть мужчины, которые его не задают. И еще такая закономерность: если очень допытывается, можно ли будет пить водку, то насчет работы обычно спросить забывает.

А женщин в первую очередь заботит, смогут ли вернуться на производство, выполнять домашнюю работу. А о чем еще они спрашивают друг друга в тесном женском кругу, мне не ведомо.

Собеседница благодарит меня без конца, будто я миллион ей подарил.

— Теперь мне пусть хоць што гавóряць май саседки, я им ня паверу. Я теперь сама знаю, што им атвециць! Ну спасибочко ж вам большое. Правду гаворяць: слово раниць, слово лечиць. Як я переживала! А вот послушала вас и уже ня баюся, хоць завтра на аперацию. А то меня та старуха напужала досмерти. В женской палате просто сидець невозможно; с утра да вечера толька и разгавору, что пра балезни. Так хоць бы толька пра сваи, а то и пра чужия: у каго як галава балиць, кому як… Их паслухаешь — ня схочешь, так забалеешь, — никак не может выговориться словоохотливая собеседница.

Иду к Ариану Павловичу за последними наставлениями — меня выписывают.

— За тебя я спокоен, — говорит он. — Ты в обстановке разбираешься правильно.

— А что будем делать, если не похудею? — Я так и не принимаю гормоны, а вес не уменьшается.

— Должен похудеть. Теперь надо рассчитывать на время — время покажет. Я все вырезал, что можно было вырезать. На меня больше не надейся — теперь на бога уповай. Пиши, как будешь чувствовать. Можешь всегда рассчитывать на мою помощь, — говорит Ариан Павлович, улыбаясь. У него очень хорошее настроение.

— Ариан Павлович, большое-большое спасибо вам за все…

— Ладно, ладно, — отмахивается он от меня, как от назойливой мухи. Подает руку: — Ну, будь здоров.

За него говорят его глаза. Для меня хирург стал вторым отцом, и он это чувствует.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

1

Домой приезжаю вечером.

Отворив дверь и увидев, что это я, Дина молча поворачивается и уходит в комнату, садится на диван досматривать телепередачу.

Прохожу в спальню. Сергей лежит в кроватке в одних трусиках и маечке, скомкав одеяло к стенке; свернулся калачиком, положил ладошку под щеку и сладко посапывает, приоткрыв рот. Тихонько, чтобы не разбудить, погладил сына по голове — тот вытягивает ноги, откидывает руку, плямкает губами и снова затихает, блаженно посапывая. Постояв еще возле кроватки, выхожу из спальни. Сажусь в кресло, тоже смотрю телевизор.

— Я должна тебе сразу сказать, — раздается вдруг натянутый Динин голос, — что жить с тобой больше не буду. Хватит! — взвизгивает она. — Мне это осточертело!

Я не шелохнулся. Что ж, этого надо было ожидать, все к тому и шло… А в груди все равно пусто, холодно, гадко…

— Дело твое, — отвечаю, не поворачивая головы.

Посидев еще немного, Дина встает и выходит на кухню. Глухо стукает тарелка, звякает ложка.

— Ешь иди.

— Спасибо, я сыт.

Мы досматриваем телепередачу, тяготясь друг другом.

Утром Дина будит Сергея, ведет умываться. Увидев меня, он говорит удивленно:

— Мама, смотри: папа… Пап, а откуда ты взялся?

— Здравствуй, Сережа, — тихо говорю я.

Сергей подбегает ко мне, обнимает, прижимается.

— А дядя Олег меня на «Волге» катал! — делится он самым интересным, что приключилось с ним, пока отец был в Москве.

— Ладно, Сережа, идем умываться, а то в садик опаздываем. — Дина подходит, берет его на руки и уносит в ванную.

После умывания Дина одевает Сергея, и они уходят. А еще совсем недавно Сергей обходился без няньки.

Я лежу и думаю. Ариан Павлович сказал: «Должен похудеть». Сколько лет ждал я этих слов! Когда-то, чудак, рисовал в своем воображении: возвращаюсь домой с победой — Дина поражена, от радости и волнения не знает, что делать, счастливыми слезами туманятся ее глаза… Да, я хотел бы, чтобы кто-то заплакал от радости за меня…

Вечером Дина приходит без Сережки. Я ожидал и этого… Не снимая пальто и не разуваясь, она стоит у двери.

— Мне надо с тобой поговорить. Я хочу взять кое-какие вещи. Что ты намерен дать нам?

— То, без чего мне не обойтись, останется. Остальное — забирай.

Она опускает глаза. У нее не хватает духу снова их поднять.

— Нам надо решить еще один вопрос. Я знаю, ты… Сережку любишь… Он обещал усыновить его. Я думаю, Сергею так будет лучше.

«Вот оно что!..» — поражаюсь я. Хотя в ее словах нет ничего неожиданного. Но уже в следующий миг зло усмехаюсь про себя: «А ты что думал? Конечно же, не вчера это она и не сегодня… Муж всегда узнает последним… Решила рубить под корень: «Так Сергею будет лучше…» Так тебе, подлой, удобнее будет!..» Чувствую, что теряю над собой власть.

— Ты ведь дашь согласие? — она с тревогой взглядывает на меня.

— Разумеется, — говорю, как в пропасть шагаю. Неудержимый гнев распирает грудь. Я приближаюсь к какой-то ужасной черте. С каждым новым ее требованием — все ближе, ближе… Напрягаю всю свою силу, всю выдержку — но тщетно…

— И ты не будешь?.. — Дина не может подыскать удобного слова.

— Постараюсь не напоминать о своем существовании, — выручаю ее. — Не ради тебя. А чтобы не калечила душу ребенку. Да ты, знаю, и без этого постараешься… Видишь, я, наконец, научился понимать тебя! — Мне самому страшна усмешка, которая кривит мои губы.

Я же просил ее в том письме… Ну что ей еще? Почему не уходит? Ей этого мало?!

— Я знаю, ты очень оби…

И тут я срываюсь, из груди вырывается рык:

— Уходи, уходи скорей! — чувствую, как мое лицо перекашивает страшная гримаса. — Вон!

Как от хлопка в ладоши в горах срывается снежная лавина, вспучиваясь и сметая все на своем пути, так ее «сочувствие» всколыхнуло все прошлое, пробудило страшную ярость, хлынувшую к горлу, чтобы через мгновенье вырваться жутким воплем, затмить рассудок.

Но крик не вырвался из моего горла: Дины уже нет передо мной. Неизлившаяся, закупоренная ярость рвет, грызет грудь, не дает вздохнуть… Медленным взглядом обвожу комнату — она кажется огромной, будто из нее вынесли все вещи, даже, мнится,

эхо блуждает по углам. И я — посреди этой пустоты.

Один… Совершенно один… Никогда больше не прозвенит здесь Сережкин голосок. Вот я и дома… Вернулся с победой… Медынцев, Медынцев, не знаешь ты, какой ты счастливый… Вот где ты, жизнь, подловила меня… Зачем тогда нужны были все те операции, борьба, боль, муки? Чего я этим добился? Последнее, что составляло смысл жизни, потерял. Видишь, Арианчик, чего ради ты мучился сомнениями, рисковал, не спал ночей, отстаивая меня у смерти. Стоило ли?..

Немного погодя, меня начинает беспокоить какое-то брезгливое чувство, неясное, но навязчивое. Я не могу понять, от чего оно исходит… Ноги подкашиваются, сажусь на стул. Чувство брезгливости сразу возрастает… И тут я понимаю: оно исходит от вещей — от ее вещей. Я не знаю, что она возьмет, потому все кажется враждебным. Мне нужно лечь, но лечь на чужое противно… Ага, вот кровать, ее не отдам… Поднимаюсь со стула, тоже ставшего ненавистным, и ложусь в кровать. Лицом к стене.

2

На другой день, часов в десять утра, раздается звонок. Подхожу к двери, отворяю и вижу Дину, и с нею — трех мужчин. Дина инстинктивно оглядывается на одного из них… У меня нет желания разглядывать его. Но в мозгу, помимо воли, отпечатывается его коричневая кожаная куртка и торчащие из рукавов волосатые руки… Он здоровается — негромко, с виноватой неловкостью. Я поворачиваюсь и ухожу в комнату.

Дина входит нарочито бодро, хозяйкой, и сразу — к шифоньеру, распахивает его и облегченно вздыхает: все на месте.

За нею как-то неуклюже, будто идут на дело, которое им не совсем по душе, входят мужчины, начинают торопливо выносить вещи.

«Вот кто теперь будет Сергейке отец! — в бессильном бешенстве думаю я, стоя у окна, спиной к вошедшим. — Но по какому праву?! Кто для него Сергейка? Забавный, милый мальчик? А он вложил в него хоть грамм своей души?! Да за сто, за тысячу лет он не даст Сергею той любви, с какой я наглаживал его распашонку; не почувствует и малой доли того тепла, что я испытал на елке, когда Сергей подбежал с кульком в руках, в помятом жабо, сверкая глазенками. Мечтал вырастить сына честным, добрым. А чему будет учить этот дядька?»

По комнате ходят люди, двигают мебель, кто-то, видимо, новый муж, о чем-то робко спрашивает Дину. И я едва сдерживаюсь, чтобы не сказать: «Только, смотри, никогда не болей!» К нему я испытываю двоякое чувство: жалость — «Ну и вляпался же ты!», и злорадство: «Хотел бы я на тебя посмотреть, окажись ты в моей шкуре!» — но смолчал. Я знаю, что если скажу хоть слово, то уже не смогу владеть собой, и уж тогда натворю глупостей.

Ярость и напряжение воли, сдерживающее ее, с катастрофической быстротой поглощают остатки сил, которые еще теплятся во мне.

Так и стою у окна, вцепившись пальцами в подоконник и сжав до боли зубы, пока не вынесли все вещи.

Тогда оглядываю комнату — она стала еще пустыннее, одиночество — невыносимей; от пыльных плешин на полу, где стояла мебель, веет враждебностью, чем-то очень чужим, они оскорбляют, не дают утихнуть гневу, навязчиво лезут в глаза, нагнетая своим видом чувство безысходности… На этажерке, где была стопа Сережкиных книг, осталось четыре книжки. На них лежит небрежно брошенная тетрадь со стихами. Подхожу. Это те

книжки, что привез из Москвы в этот раз. Их я не успел прочитать Сергею. Она их не взяла, хочет, чтобы ничто не напоминало ему об отце.

Раскрываю тетрадку:

Дождик, дождик,
Динь-динь-ди…

Я вдруг вижу Сергея, скачущего в одних трусиках под веселым, шумным дождем…

Это было вскоре после нашей первой рыбалки. С самого утра парило. После обеда пышные белые облака собрались в тяжелую темную тучу. Она надвинулась на солнце. Но духота не проходила. «Пуф!» — в пыль упала тяжелая капля. За нею другая, третья и по крыше, по земле, по листьям защелкала жидкая картечь. Запахло мокрой пылью. За пестрой клушкой со всех ног улепетывали в курятник цыплята. Где-то зашумело, тревожный шум быстро надвигался и вдруг накатил, побежал дальше спорым, теплым, почти отвесным дождем. Сергей, в одних трусиках, выбежал под дождь, заскакал по лужам, без конца приговаривая:

— Дождик, дождик, поливай! Дождик, дождик, поливай!..

Мне быстро приелась эта песенка, захотелось сбить ее монотонность, и я прокричал:

— Дождик, дождик, динь-динь-ди, нас водичкой напои!

Сереже понравилось, он сразу подхватил.

Я чувствовал, как сам собою выплясывается стишок.

Сделав доброе дело, дождь быстро стихал. Из-за тучи выглянуло солнце, в его лучах алмазными нитями мелькали редкие дождинки, они рождали в лужах большие бульбы, монотонно выбивали по ведру, висящему на штакетнике: «бим-бирим-бирибим-бим-брим…»

— Хватит, дождик, хватит, уходи! — кричал Сережа и махал руками. — Пусть теперь солнышко будет!

Дождинки падали все реже. Манерно выгнув спину, задрав хвост, большими скачками пробежала кошка. Барыня, старалась не замочиться. Блестящие налитые листья, усталые после дождевого душа, разморенно обвисли: отдыхали.

Я сам впал в ребячество, мне хотелось как-то проявить это, приобщиться к Сережкиному восторгу — к его миру. Но скакать по лужам я не мог. Не мог и оставаться в бездействии. И мое настроение вылилось в новый стишок:

Дождик проливной!

Хорошо ты землю
Напоил водой!
А теперь на тучке
Дальше уходи,
Солнышку на небе
Место уступи!

Подпевая, Сергей снова замахал в небо руками:

А теперь на тучке
Дальше уходи,
Солнышку на небе
Место уступи!

…Закрываю глаза… Я физически ощущаю, что в мире произошел страшный разлом: по одну его сторону остался Сережка, — с этим дождем, с рыбалкой, с новогодним утренником, а по другую сторону — я… И с каждой секундой эти половинки дальше и дальше уплывают друг от друга.

Мысленно оглядываюсь на прожитые годы. Казалось, ничто не предвещало беды. И вдруг навалилась болезнь, словно вспучилась на ясном горизонте чудовищная волна, обрушилась на цветущий берег, круша все вокруг, — и схлынула, оставив после себя пустыню. И меня — истерзанного, жалкого, одинокого. Какие нужно иметь силы, чтобы выстоять, остаться самим собой?! Где взять эти силы?

Вяло, бесстрастно переворачиваю пальцем обложку — закрываю тетрадку. Бросаю небрежно на этажерку. Не для кого больше сочинять и читать стишки.

С этим жестом в груди у меня что-то окончательно надламывается, и я опускаюсь на кровать. Она стоит в углу комнаты, словно утлая лодчонка среди жалких обломков разбитого шквалом корабля…

3

Проходит день, другой, третий. Я не нахожу себе места. Самое страшное то, что я не властен что-либо изменить.

Временами перестаю соображать, где я и что со мной, точно засыпаю с открытыми глазами. А в груди укоренилась тупая ноющая боль, словно там лежит тяжелый камень. Силы совсем покидают меня… «Ну и пусть. Не велика потеря. Если по всем правилам, то от меня уже давно и следа остаться не должно. Это недоразумение, что жив до сих пор. И Сергея никогда больше не увижу…» И только мысль коснулась сына, как все мое существо бурно запротестовало против собственного бессилия, сознание сразу прояснилось, будто нюхнул нашатырного спирту. Да, жизнь, подловила ты меня, ох и подловила! Лучшего момента тебе было не выбрать. Приперла к стенке и упиваешься моей безвыходностью. Только как ты меня ни мордуй — не втяну голову в плечи!

Хотят усыновить Сергея… Сын уходит от меня, от моего влияния, я не смогу вложить в него свою душу! Каким воспитают его они? Они же не смогут дать ему то, что дал бы я. Эх, Сережка, Сергей! Не-ет, так просто я не уступлю его вам! Буду наведываться в садик, гулять с ним по городу, ходить в кино, в цирк. Вот окрепну — может, и на рыбалку, и в лес!

В лес… А как т о т тогда будет относиться к мальчишке? И она — разве смирится? Да она приложит все силы, пойдет на все, только бы ничего не напоминало Сергею обо мне… Она пойдет на все. Ребенок окажется меж двух огней. Станет козлом отпущения.

Конечно, можно настоять на своем, не дать согласия на усыновление. «Нет» — и все! Мое право.

А я скажу «да». Придется сказать.

А Сережку все равно буду видеть. Встану где-нибудь и буду смотреть, как он идет из садика… или — из школы. Эх, Сергей, Сергей. Чем ты был для меня, поймешь, когда у тебя самого появятся дети. Только беда ворвалась не оттуда, откуда грозилась. Я, что мог, сделал, она отступилась, и только вернулся домой — другая беда разлучила нас.

Эти мысли вновь разбередили душу, грезя нарушить шаткое, с таким трудом восстановленное равновесие. Моим существом вновь овладевает страшная, лютая ненависть. Ненависть не бешеная, не мстительная — брезгливая.

Трижды от меня уходили женщины. Как по-разному они уходили! Надя… Аленушка… Дина… Я не люблю вспоминать о Наде. Но сейчас даже тот памятный миг, когда увидел ее с мужем,

не вызывает в моей душе былого протеста. Даже за те письма, что писала мне, когда была женой другого, начинаю испытывать к Наде запоздалую благодарность. В конце концов, они были писаны от добра, а не от зла. Пусть неправильная, но то была забота. Ей не хотелось делать мне больно. В эти минуты моя душа простила ее.

А брезгливая ненависть к Дине — еще яростней…

Может, и Аленушка ушла от мужа?.. Но она никогда не ушла бы вот так… Дело не в том, уйти или не уйти, — понимаю наконец. Уйти можно и от больного. Все дело в том, когда и как уйти. Самое главное — как… Ведь я не держал ее. Я же сам писал: полюбишь — иди. Я не обижусь. Сумею понять. Но зачем же вот так? Эх-х-х!

Вдруг представилось, что она, идя с работы, каждый раз с затаенной надеждой заглядывала в почтовый ящик: нет ли на меня долгожданной похоронки?..

«Не дождалась! — злорадно, мстительно возликовало в душе. — Я — вот он: жив курилка! Черта лысого. Я еще поживу на этом свете. Поживу!»

И, не позволяя себе оттяжки, мысленно отчеканиваю: твоя судьба — это ты. Ты ведь умеешь побеждать себя. Победи и на этот раз!

Усилием воли мне как бы удается поставить на место некий внутренний стержень, сдвинутый катастрофой с оси.

С этой минуты начинаю с радостью замечать, что возвращаюсь к жизни, и камень, давивший душу, уменьшается, уменьшается, и, наконец, остается только почти неощутимая тяжесть да едва уловимая боль, которой, верно, никогда уже не суждено пройти.

Беру с этажерки зеленый альбом, еще курсантский. Раскрываю. С фотокарточки смотрит все отделение…

Здесь — мы с Иваном, лежим в траве за пулеметом, ведем огонь.

Вот я — выпускник. Уже в офицерской форме. Впереди сидят командиры и члены Государственной комиссии. За ними — вся наша братия, новоиспеченные лейтенанты.

И приятно, и в то же время тяжело на душе от воспоминаний.

Вот фотокарточка, где я еще салажонок, нас только-только обмундировали. Днем сфотографировался, а вечером нас несколько человек послали рабочими по кухне. Мы перемыли после ужина посуду, начистили картошки. Но в казарму нас не отпустили: ждали из лагерей третий курс. В большом мрачноватом деревянном помещении стояли длинные столы, на десять человек каждый. Вдоль столов — длинные тяжелые

скамейки. На этих скамейках мы и улеглись.

В два часа ночи нас разбудили.

Распахнулась дверь, и в столовую потянулась, точно пулеметная лента, начиненная патронами, бойкая цепочка курсантов. Из лагерей приехали на лошадях. У каждого на боку шашка. Запыленные, загорелые, расторопные, звенели шпорами. По столовой будто свежий ветер прошелся.

В сравнении с ними я чувствовал себя маленьким, слабеньким. «Неужели и я через три года буду таким же?» — верил и не верил я, разглядывая во все глаза выпускников.

Они быстро заняли столы. Мимо столов прошелся курсант-старшина, коренастый, с сильной коричневой шеей, голову держал задиристо, по-петушиному.

— Дивизион, садись! — властно, красиво скомандовал он рокочущим голосом.

От каждого взвода к «амбразуре» побежал курсант с большим — на десять тарелок — фанерным подносом. Наполнив поднос, бегом нес его к столу. Курсанты, как жонглеры, быстро передавали друг другу горячие алюминиевые тарелки. Чай пили из зеленых эмалированных кружек.

— Дивизион, встать! — подал команду старшина. — Повзводно — выходи!

Столовая быстро опустела. С улицы донеслись команды, приглушенные стенами:

— Стр-р-роиться!.. ир-р-рно!.. гом… арш!

Раздался упругий, короткий гул, чуть вздрогнула земля — по ней разом топнула добрая сотня ног.

Мы собирали тарелки, несли их в моечную. Нас ждал еще солидный холмик нечищеной картошки.

К новому учебному году строители сдали новую столовую, с кафелем, паркетом; курсанты сидели по четверо за каждым столиком. Белые скатерти, приборы из нержавейки, фарфоровые тарелки и тарелочки, стаканы с подстаканниками, салфетки. Пищу разносили официантки в белых фартучках и кружевных наколках.

На все лето выезжали в лагеря. Там — самообслуживание, длинные столы, эмалированные кружки, алюминиевые тарелки, ложки.

А вот фотокарточка, где я в лагере, на фоне белых палаток. В панаме со звездой, в яловых сапогах со шпорами, с шашкой на боку: как раз дневалил.

Свадебная фотокарточка… Сразу переворачиваю страницу.

А здесь я — на заставе с Сережкой на руках. Сыну здесь месяца два. Глаза еще бессмысленные. Он в каком-то чепчике.

А вот Сережка после памятного утренника. Умная, веселая мордашка. Смотрит немного исподлобья. В колпаке, в помятом жабо. В руке — прозрачный кулек, видны апельсин, конфеты.

Листаю альбом — перелистываю прожитые годы. Они, со всеми событиями, остались там — по ту сторону страшного разлома…

Так получилось, что у меня нет фотокарточки ни Аленушки, ни Иришки. Хочу вспомнить лицо Аленки — не получается. Что-то призрачное, неуловимое, как забытая прекрасная мелодия, блуждает в глубинах памяти и никак не может всплыть, высветиться. Иногда на миг отчетливо проступают устало опущенные уголки губ, большие черные глаза и ресницы с налипшим на них снегом, росинки растаявшего снега на носу. Однако уверен, что если б увидел ее — сразу бы узнал.

Какая несправедливость: Аленушка тебе нужна, как воздух, а в эту самую минуту она, возможно, идет по тротуару, вокруг множество людей — и никому до нее нет дела! Никто из них не подозревает, какой удивительный человек прошел мимо. Каждый день она приходит на работу, и для сотрудников она всего лишь коллега. Уйдет, на ее место встанет другая — и сослуживцам все равно, лишь бы работала хорошо да к ним была бы добра.

А ты годами мечтаешь о том, чтобы еще хоть раз взглянуть на нее.

Как сложилась у нее жизнь? Возвращалась она к мужу не с легким сердцем. Он тоже, наверно, не знает, чем владеет. Как мне хотелось тогда, чтобы она забыла свою обиду, снова научилась улыбаться! И я сумел сделать так, чтобы она улыбалась.

Мне нестерпимо хочется видеть Аленку сейчас, сию минуту. В эти мгновенья я знаю, что люблю ее. Люблю невыносимо. Люблю давно. Всегда. Я разыщу ее. Вот наберусь немного сил и начну розыски!

А сейчас мне так нужно хотя бы прикоснуться к чему-то, что связано с Аленушкой.

Вытаскиваю из-под кровати старый чемодан, еще курсантский, вываливаю из него содержимое, приподнимаю газету, застилающую дно, достаю из-под нее потертый голубой конверт…

> «Теперь я знаю, что среди вас есть настоящие. А это очень важно: знать, что есть…»

Да, это, действительно, очень важно.

* * *

А Земля продолжает вертеться; дни, точно облака в ветреный день, бегут нескончаемой чередой, — дни моего одиночества. Выйти из дома я еще не в состоянии. Продукты мне покупают ребятишки из нашего подъезда.

Начинаю худеть. Теперь я поминутно смотрюсь в зеркало, ощупываю себя, прикидываю, сколько килограммов можно еще сбросить и сколько на это потребуется времени. А Сергей не видит, как его папка принимает человеческий облик. Так и останусь в его памяти большущим куском жира.

Мне больно думать о сыне, потом я чувствую себя больным, разбитым, опустошенным, на меня находит апатия. В такие минуты возвращается мысль: зачем я только выжил?

Но проходит время, я снова приближаюсь к зеркалу, и могучее чувство радости возвращается ко мне.

В середине лета сменил шаровары на брюки!

А еще через месяц рискнул поехать в театр.

И что удивительно: когда пытался представить себе, каким буду, когда похудею, всегда видел себя в шляпе и с тросточкой. И это сбылось: тросточка надобна потому, что слабы ноги и побаливает позвоночник, а шляпа — от солнца, оно мне противопоказано.

Я становлюсь совсем худым — таким худым я не был еще никогда. Мне нравится быть таким. Кто знал меня до болезни, не узнавал, когда я стал полным. А кто знал меня толстым, сейчас при встрече отказывается верить, что перед ним Макар Овчаров.

Приятнее комплимента для меня быть уже не может.

Истомину я не писал больше года. Не о чем было. А теперь можно.

С заставы ответили, что уже год, как Истомин в Москве, учится в академии. Прислали адрес. Вот поросенок! Столько времени живет в Москве и ни разу не понаведал. Даже записки не прислал, не написал, что живет рядом. Поступил в академию и заважничал? Ну, погоди!

4

После операции прошло полгода. Получаю из Москвы вызов. Впервые еду туда не лечиться, а на проверку.

Утром, пораньше, отправляюсь в институт. Который уж раз я прихожу сюда. Только раньше к этим дверям меня приводила беда. Насильно, угрожая гибелью… А сегодня я иду сюда с ликованием в душе, с чувством… с чувством победителя!

Вхожу в вестибюль. Как раз вовремя: к восьми часам приходит новая смена сестер.

Как и ожидал, меня почти никто не узнает. Даже Зинка-корзинка! Сдает в гардероб пальто, смотрит на меня и не может понять, отчего у этого парня рот до ушей. Присматривается внимательней, и ее брови удивленно расползаются:

— Господи, Макар Иванович! А красивый-то какой стал, впору влюбиться.

— А ты влюбись.

— А что? Вот возьму и влюблюсь. Покрутишься тогда, — говорит, а у самой слезы в глазах. — Ну, пошли к нам.

— Я Ариана Павловича дождусь.

— Не дождешься, он в отпуске.

— В отпуске? — я даже растерялся.

— Он дома, — успокаивает Зина. — Ему дали творческий отпуск. Готовится к защите докторской диссертации. Я позвоню, он тут же прискачет.

Вместе поднимаемся на этаж.

Ждать приходится совсем недолго — через несколько минут является Ариан Павлович. Бежит чуть не вприпрыжку.

— Поворотись-ка, сынку, как говаривал старый Тарас. Если бы не предупредили, ни за что бы не узнал. Как себя чувствуешь?

— Будет лучше — не обижусь. И так, как сейчас, тоже жить можно.

Ариан Павлович внимательно осматривает меня:

— Как питаешься?

— Соблюдаю диету. Как выписался, ни разу крошки хлеба в рот не взял, исключил из рациона жиры и углеводы. Интересно посмотреть, какие будут анализы.

— У тебя, дружочек, голодные отеки. Это не страшно. Но свой эксперимент заканчивай, — в голосе хирурга слышатся строгие нотки. — Можешь есть все подряд, не бойся, не растолстеешь. Боровикова помнишь? — без всякого перехода спрашивает он.

Мне ли не помнить Боровичка!

— Тоже недавно приезжал на проверку. Поступил в медицинский. Хочет стать эндокринологом. Просил, чтобы на практику мы его сюда, к себе, вызывали. Между прочим, фотокарточку показывал: серьезная такая дивчина. В очках. Говорил, однокурсница. Толковый парень.

— Я с ним переписываюсь.

— А гормоны так и не принимаешь?

— Нет.

— Я тут предложил одному врачу взять твой эксперимент темой для кандидатской, пусть докопается, почему это вы, не имея надпочечников, можете жить без искусственных гормонов.

— А я тоже подумываю, не поступить ли в медицинский.

— А что? Неплохо. На кого? — и хитро прищурился.

— Тоже на эндокринолога!

— Ну, мы еще поговорим об этом.

В кабинет уже несколько раз заглядывали больные.

— Вон уже понабежали, узнали, что ты в отделении. Пойдем, пусть посмотрят на тебя.

У кабинета собрались несколько человек, тоже «Кушинги». Когда мы с Арианом Павловичем вышли, они сразу притихли. Я отлично знаю, о чем все они сейчас думают… С лестничной площадки подходит к нам полная молодая женщина. Сразу видно: «Кушинг».

— Много про вас слышала, — бойко тараторит она на ходу. — Сказали, Овчаров пришел в хирургию. Я бегом сюда. Пока поднялась с четвертого этажа, задохнулась вся.

— Через полгода и ты такая будешь, — обещает Ариан Павлович.

— Ой, даже не верится, — почти с испугом охает она, а в глазах — и радость, и смятение, и надежда — все сразу…

— Мне тоже иногда не верилось, — говорю я.

— А правда, что вас шесть раз резали? — спрашивает другая больная.

— К сожалению, правда.

Кто-то тяжело вздыхает. Мне понятен и этот вздох: в нем и вековечное сомнение человека обрести счастье, и никогда не покидающая вера в то, что фортуна, так долго блуждавшая по свету, не сегодня-завтра набредет на него, и тут он уж заарканит ее! Этих людей совсем не пугает перспектива самим пройти через все то, что прошел я, — их глаза горят надеждой, завистью, нетерпением, решимостью.

— Врачи, чуть что, говорят: «Вот был у нас тяжелейший больной, Овчаров». А какой он из себя? Теперь видим — самый обыкновенный, как и мы.

Когда все разошлись, ко мне подходит, улыбаясь, стройная женщина с копной черных волос.

— Здравствуйце, Макар Иванович, — здоровается она весело. Говорит с заметным белорусским акцентом. Так это ж та, что советовалась, оперироваться ей или нет! Она очень изменилась: похудела, посвежела, помолодела.

— А я так обрадовалась, як узнала, што вы тут. Если б мне не сказали, што это вы, я б вас зроду ня узнала б.

— И я рад!

Она не дает мне договорить:

— А я так благодарна вам за добрый совет. Теперь чувствую себя хорошо. Пью по две таблетки. А вы?

— Обхожусь без таблеток.

— А я боялась. Говорили ж, без таблеток человек проживет не больше трех-четырех дней. Теперь попробую. А это не опасно?

— Посоветуйтесь с Арианом Павловичем.

— А я ж тогда, дура, чуть ня уехала да дому. Хорошо, что Алла Израилевна подсказала поговорить с вами. Счас я уже работаю и па дамашнасци усё делаю. И в гости хожу, и пою, и пляшу. Як наче ничаго и ня балело. А як же тяжка балець. От сматру счас на бальных, аж душа разрываецца, так их усех жалка. А я вот тут тоже дваих уговорила на аперацию. Такия же трусихи, як я была. А скок Ариан Павлович людям дабра делаець! Залатый чалавек.

Мне хочется, чтобы и Нина-Люкс увидела меня таким. Разыскал ее дом. Захожу в кабину лифта. Слышу стук каблучков. И вот в кабину входит элегантно одетая девушка, в беретке, распущенные волосы покрывают плечи. Да это ж Нина!

— Макар Иванович, вы?! Здравствуйте. — Она протягивает ладошку. Я тоже удивлен. Не только тем, что так неожиданно встретились. На работе она ходила с туго заплетенной косой, уложенной на затылке. И вообще она сейчас совсем другая. Выпущенные на волю волосы ей очень к лицу.

Дома Нина представляет меня своим стареньким родителям:

— Это Макар Иванович, тот самый больной, о котором я вам рассказывала.

Вижу, ей приятно, что я помню ее и разыскал.

Я хожу по музеям, выставкам — сколько хватает сил. А по вечерам — в театр. Мне порою не верится, что ад, через который мне пришлось пройти, был на самом деле. А иногда, наоборот, не верится, что все это уже позади.

Для меня и прежде пойти в театр было праздником. Теперь

же, сижу ли я в кресле в полутемном зале, впитывая шорохи, звуки настраиваемых инструментов; хожу ли по фойе, любуясь лепкой, искристо-прозрачным сиянием хрусталя и матовым — бронзы старинных люстр; держу ли бокал с янтарным, игристым лимонадом, — все для меня имеет особый, значительный смысл: если для остальных это в порядке вещей, жизнь сама дала им все это, то я добыл сие в бою, вырвал у судьбы, взяв ее за глотку. При каждом удобном случае смотрю на свое отражение в зеркалах и — не узнаю себя… не сразу отыскиваю себя среди других.

Люди, послушайте: если б вы только знали, как это здорово — затеряться среди вас! Я об этом даже мечтать не отваживался. Потому не судите меня строго за то, что глупая, счастливая улыбка не сходит с моего лица.

С тех пор, как стал худеть и убедился, что смерть больше не висит надо мной, я постоянно живу в приподнятом, даже праздничном настроении. На что ни посмотрю, невольно думается, что этого для меня уже могло не быть… Но — оно есть!

5

Разыскал общежитие военной академии, а там — и комнату Истоминых.

— Здесь Истомины живут? — спрашиваю невысокую, возмужавшую за эти годы, похорошевшую Валю, Иванову жену. Она в темном синем трико, в розовой коротенькой кофточке, едва сходящейся на высокой груди.

— Да.

— Здравствуйте… Ты — Валя?

— Да. А… вы кто?

— Когда-то Валя тоже на «ты» меня называла.

— Но кто же вы?

— Даю вводную. Вы с Ванькой только поженились. Когда проезжали нашу заставу, Иван зашел ко мне. «Иди, говорит, приглашай Валю, она в кузове сидит». — Замешательство хозяйки доставляет мне удовольствие. — Не успел я подойти к машине, как ты говоришь: «А я тебя знаю. По фотокарточкам, и Ваня о тебе…»

— Так вы Макар? — она чуть побледнела. — А… — и запнулась. — Ни за что бы не узнала… с тросточкой…

— Я тебя тоже сначала не узнал. Тогда ты была худенькая, тоненькая. А сейчас такая представительная.

Валя приглашает в комнату.

— Будешь «выкать» — не буду с тобой разговаривать. Вот так.

— Да я как-то привыкла со всеми.

— А со мной отвыкай. Ванька где? Я приехал ругаться с ним.

— Должен бы уже прийти. Наверно, негодник, зашел в «Военную мысль» — это мы тут неподалеку кафе называем, наши мужья любят туда заглянуть. Но он должен скоро прийти. Извини, у меня на кухне тоже решается проблема.

Оставшись один, с интересом осматриваюсь: маленькая комнатушка, стол, два стула, диван-кровать, телевизор. И книги. Художественные, кое-что из военной литературы, а то все медицинские: по терапии, фармакологии.

Валя возвращается с кухни, накрывает на стол.

— Когда Иван заканчивает академию?

— Через три года. И я тоже. Медицинский.

— Молодцы, ребята. Между прочим, я тоже думаю двинуть в медицину.

— Иван часто тебя вспоминал. Все говорил: «Макар — это человек». Как он обрадуется! — Валя расставляет тарелки, достает из шкафа, вделанного в стену, рюмки, протирает их

полотенцем, раскладывает вилки. — И потом, уже на границе, рассказывал: «Макар, говорит, был для меня как старший брат: и поругает, и позаботится, заступится, даст совет». Я так хохотала, когда он показывал, как ты взял его за шиворот и заставлял нюхать цветы на яблоне, да еще приговаривал: «Нюхай, чахотка городская, а то, кроме хлорки да бензина, и запахов никаких не знаешь». Представляю!.. Он очень любит цветы.

А вот и сам Иван. Отворил дверь — и застыл в изумлении, хлопая ресницами.

— Мака-ар…

Мы бросаемся друг к другу, Иван на радостях тискает меня. Я предупреждаю:

— Осторожней.

— А я иду по коридору, а мне один мальчик говорит: «Дядь Вань, а к вам дядя Макар приехал», — заакал Ваня. — А я иду и думаю… Понимаешь, мы написали тебе, а письмо вернулось. Думали, если жив, уехал домой — напишешь. А письма нет и нет… А ты — вот он!

Так вот почему Валя растерялась!

— А мы тогда погоревали, посочувствовали Дине. Кстати, а где она? Почему вы не вместе?

— Улетела пташка. Потому и не писал.

Ваня сразу осекся.

— А меня многие уже хоронили. Да, видишь, жив курилка!

Валя приглашает к столу.

— Сын как? — осторожно спрашивает она.

— Плохо. Хуже некуда. Т о т усыновил…

— И ты согласился? — рыкает Ваня. — Да я бы! — Тут Валя одергивает его незаметно, и он умолкает.

Я не в состоянии отвечать. Только старательно тыкаю дрожащей вилкой в хлебную крошку и никак не могу ее наколоть.

Наступает тягостная тишина.

Иван разливает по рюмкам вино. Я отказываюсь: нельзя. Хозяева пьют за мое здоровье. Мало-помалу разговорились… и засиделись до глубокой ночи. А им завтра на занятия.

…Мне не спится. Рядом сердито, по-стариковски кряхтит холодильник, затихает, снова начинает бормотать. Неслышный вечером будильник сейчас неумолимо четко, с легким звоном сбрасывает мгновенья, каждое тут же становится прошлым, прошлым, прошлым.

Я лежу и думаю о том, что больной, как и солдат в бою, погибает не только за себя. Гибель Медынцева явилась предтечей моего спасения. Я обязан Медынцеву жизнью. Ариану Павловичу и ему. А я, в свою очередь, открыл дорогу к спасению Боровикову

и другим, кого ждала неминуемая смерть. И выходит, что все мы обязаны своим спасением Медынцеву… Ничто не уходит бесследно: ни одна человеческая жизнь, ни один поступок — подлый он или прекрасный.

Кажется, почти и не жил еще на свете, а уже познал, что такое борьба, борьба не на жизнь, а на смерть. И еще я знаю, что такое подъем по тревоге — и уже через минуту ты несешься на коне в темень, дождь, ветер, слякоть. Я этого никогда не забуду, потому что это было со мной и со мной осталось.

Но что значит прошлое, если оно не подтверждается настоящим и будущим? Если жить одним прошлым без настоящего, без будущего — жизнь снова потеряет смысл. А будущее не сулит легкого пути. Впереди — новая борьба.

Засыпаю под утро.

Мне снова снится тревожный топот копыт…

Послесловие

Моя повесть построена на автобиографическом материале. За перо я взялся не потому, что решил в люди выбиться, и не потому, что, оказавшись инвалидом, я должен был чем-то заняться. Нет. Дело в том, что за последние годы, долгие годы болезни, у меня накопились определенные наблюдения, размышления, незабываемые встречи и… потери. Многое из того, что довелось увидеть в больнице, не соответствовало моим представлениям об этой стороне жизни, представлениям, кстати говоря, исходящим из книжных впечатлений.

Однако в больнице я увидел все тот же сложный человеческий мир, правда, мир своеобразный. Наблюдая отношение новичков к болезни, к операции, я задумывался над тем, почему многие из них испытывают панический страх, когда воля часто бывает абсолютно парализована. И над тем, как многие больные постепенно избавлялись от страха и на вторую операцию шли смелее!

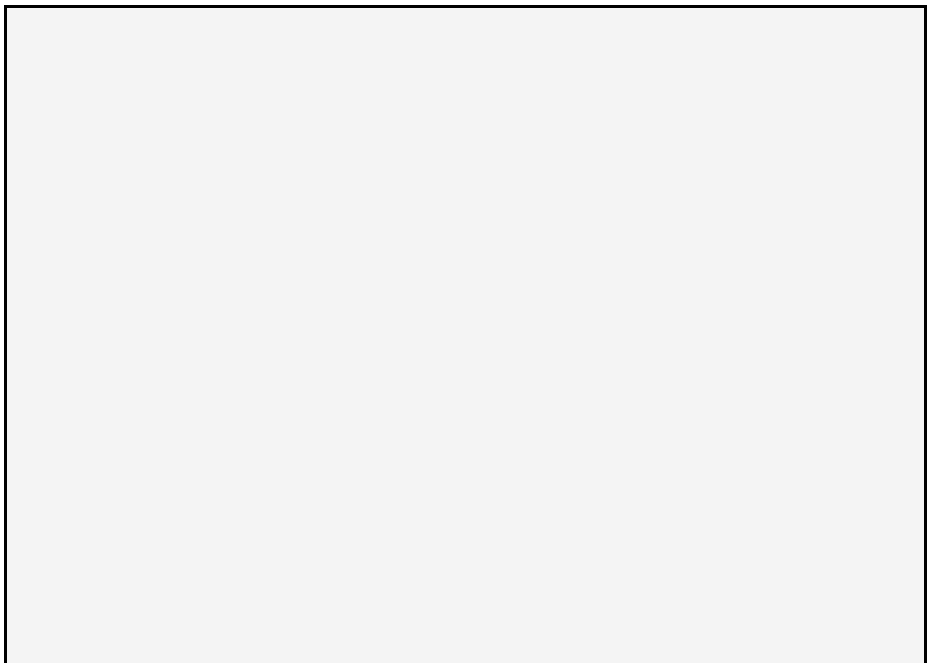
К сожалению, далеко не для каждого борьба с болезнью оказывается по плечу. И очень важно помочь таким людям поверить в свои силы, вызвать желание непременно победить. Эта повесть моя о сопротивляемости обстоятельствам и взаимоотношениях больного и врача.

Мой герой, Макар Овчаров, попадает в беду, не успев пройти житейскую школу. Однако здесь не стоит проводить аналогий с известными литературными героями, ибо ради того, чтобы сделать это, не было бы смысла браться за перо: каждый герой в жизни и персонаж в литературе слишком индивидуальны. В художественном произведении особенно необходимо выявить эту индивидуальность личности. Другое дело, насколько в самой жизни важно сохранить принципы этих героев.

Человеку часто надо лишь помочь поверить в себя — ведь обычно человек слаб не потому, что он в принципе не может быть иным, а потому, что он не верит в свои силы. Герой этой повести не был на фронте, не воевал и не ловил шпионов, он жил обычной жизнью, пока наступившая болезнь не сделала его, Макара Овчарова, бойцом, которому и в болезни отступать было так же невозможно, как и перед любой другой опасностью, перед любым врагом. Макар пробудил в себе силы для иной, новой жизни, оказавшись в кольце многотрудных бытовых обстоятельств. Изображая эту новую жизнь, мне хотелось избежать показа ложной бутафории быта: все было гораздо сложнее в этой борьбе за право на собственное слово после многочисленных коллизий в

стенах больниц и за их пределами. Оттого и вся дальнейшая жизнь Макара после операции есть следствие раз и навсегда выбранной им жизненной позиции, без которой трудно осознавать себя человеком. Неожиданно для меня Макар оказался философом — моего героя заинтересовала диалектика естествознания. Пришлось серьезно заняться науками: философией, математикой, физикой, теорией относительности, проблемами логики, мышления и познания… Так что просто романа о любви не получилось. Обычно автор лепит судьбу своего героя, а у меня вышло так, что будущий герой книги стал над автором. Макар решил выяснить, в какой мере человеку, не имеющему специального образования, доступна информация, добытая наукой, и как он может реализовать полученную таким образом информацию. Важно было также выяснить для себя вопрос о самостоятельном мышлении в выборе темы, литературы для собственного духовного роста, роста человека, на которого не давит ничто: ни начальство, ни мнение руководителя группы, ни материальная заинтересованность, ни продвижение по службе и т. д. Оценка же результатов — по конкретному продукту мыслительной деятельности. А мыслить всегда означало — существовать! В этом и основная идея моего повествования, являющегося доверительным разговором с читателем о пережитом.

Автор



Цена 60 к.